

Владимир
Одноралов

ЗА ГРИБНЫМ ЦАРЕМ

Д







Владимир
Одноралов

ЗА ГРИБНЫМ ЦАРЕМ

Рассказы
и
повесть



МОСКВА
«Детская литература»
1989

ББК 84Р7
О-43

Художник
Е. Грибов

Одноралов В. И.

О-43 **За грибным царем: Рассказы и повесть/Худож. Е. Грибов.—**
М.: Дет. лит., 1989.— 127 с.: ил.

ISBN 5—08—000638—2

В книгу молодого писателя входят рассказы и повесть «За грибным царем». Они объединены темой — человек и природа. Автор показывает, как духовность, эмоциональность ребенка проверяется его отношением к другим людям и природе.

О 4803010201—313
М101(03)-89 254—89

ББК 84.3Р7

ISBN 5—08—000638—2

© ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСКАЯ ЛИТЕРАТУРА», 1989

СОДЕРЖАНИЕ

СТРЕКОЗА И МУРАВЕЙ. <i>Рассказ</i> _____	5
СТАРШИЙ БРАТ. <i>Рассказ</i> _____	11
КАЛОШИ СЧАСТЬЯ. <i>Рассказ</i> _____	19
СУББОТНИК. <i>Рассказ</i> _____	31
КОРАБЛИК. <i>Рассказ</i> _____	39
ВОВКА, СИВКА, ЕГОРКА... <i>Рассказ</i> _____	47
ГРАД. <i>Рассказ</i> _____	69
ЗА ГРИБНЫМ ЦАРЕМ. <i>Повесть</i> _____	73



СТРЕКОЗА И МУРАВЕЙ

Из щели в крахмальных шторах прямо в лицо Людмиле Васильевне падал острый луч солнца. Но она не щурилась и не моргала, свет не мешал ей вовсе. Она приказала Мишке Гаечкину встать и, пристально наблюдая, как розовеют у него уши, начала рассказывать про него.

По дороге в школу Мишка встретил двух малышей, которые возились на песочной куче со своими грузовиками, бросил рыдышком портфель и предложил:

— Сейчас я вам дворец отгрохаю,— и принялся лепить из песка стены и зубчатые башни.

Малыши сопели от удовольствия и отыскивали бутылочные стекляшки для разноцветных окон.

И вдруг высоко, как с неба, раздался голос учительницы:

— Гаечкин, горе ты мое луковое, ведь ты уже за партой должен сидеть!

Слегка отряхнув от песка, она увлекла его с собой. И вот сейчас громко ругает, а он, ошеломленный новой промашкой, настойчиво смотрит в окно.

Школа стоит на краю пригорода, и отсюда далеко видна сонная стальная река. Над кудрявыми пожелтевшими берегами носятся в ясном небе черные птицы — ссорятся, успокаиваются и снова кричат.

Мишка очнулся, когда ему позволили сесть. Он сел и тут же ощутил, как в затылок ему шлепнулся бумажный шарик, слышался чей-то смешок, но он был так уничтожен, что даже не обиделся.

Урок назывался «Чтение». На единственной картинке — по-

хожий на татарина муравей беседовал со стрекозой, смахивающей на обиженную девочку. Людмила Васильевна неслышно скользила между партами и говорила стихи о встрече двух этих существ. В руках она баюкала указку, иногда оглядывалась на картину, словно наблюдая, правильно ли ведут себя герои знаменитой басни.

— «Ты все пела? Это дело: так поди же попляши!» — назидательно сказала она и, холодно взглянув на стрекозу, подошла к окну, открыть форточку.

В класс проник запах высушенных кленовых листьев и грачинные вскрики. Там, где кричали над лесом птицы, по шелестящей тропинке суетливо бегал мужичок-муравей, уже закутанный в полушубок. Иногда он останавливался, шевелил усиками, прислушивался: не катит ли зима? И ему навстречу тащила свои звенящие слюдяные крылья попрыгунья-стрекоза. Уже сейчас ей было знобко ступать в легких балерининых тапочках по сырой земле.

— Она насмерть замерзнет? — взволновался вдруг Мишка.

Людмила Васильевна, сохранив строгость в лице, досадливо ответила:

— Ты не понимаешь смысла басни, Гаечкин.

Она хотела еще раз растолковать, почему муравей не пустил стрекозу в дом, но горбатая школьная нянечка вытряхнула из медного колокольчика столько звона, что учительница еле перекричала шум, задавая уроки на дом...

Мишка выскользнул из школьного двора самым первым и решил, что никто не видел глиняно-желтых, больших для его ног ботинок. Они, правда, не болтались, потому что на нем были еще толстые вязаные носки. Но все же он прятал их от чужих глаз.

Попутчиков у него не оказалось, кроме гремучих листьев, которые, перегоняя его, кувыркаясь и подпрыгивая, неслись вдоль по улице. Мишка двинулся за ними и вдруг услышал за спиной чей-то масляный голосок:

— В песочек пошел играть? — Румяный, как городская булка, одноклассник, видно, от скуки решил его подразнить.

— А тебе завидно? — буркнул в ответ Гаечкин, подозревая, что тот заметит сейчас ботинки.

И тут в голове у него сверкнула счастливая мысль. Он вы-



ставил перед толстячком левую ногу (ботинок на ней выглядел приличнее) и спросил:

— Видал?

— Ну и что? — озадачился насмешник.

— А то! Это семимильные ботинки.

— Такие только в сказке бывают, и то сапоги...

— А давай попробуем наперегонки!

И они рванулись по извилистой дорожке, размахивая портфелями и пугая заплутавшихся кур.

Сопящего от натуги и закутанного по горло толстячка Мишка обогнал легко, хотя тоже чуть-чуть задохнулся. Добежав до злополучной песчаной горки, он передохнул и крикнул:

— Ну что, видал?

Дома в первый раз затопили печку. Она приятно потрескивала сосновыми дровами, словно прожевывая их в розовой пасти. Бабушка заскучала одна и так обрадовалась Мишке, что даже забыла заставить его вымыть руки. А за то, что он без капризов съел картошку, похвалила:

— Молодец, без остатка съел, волков бояться не будешь...

При чем тут волки, Мишка не совсем понимал. Если напустить в глаза мыла и при этом не расплакаться, то тоже не будешь волков бояться... Отчего так? Но у бабушки улыбка хорошая, когда она говорит это. И вообще ей грех врать, она не врет.

Допивая сладкий чай, он вспомнил про стрекозу. Сейчас ей особенно худо. На улице вон стало темно, и ветер уже не шепчет, а знобко воет в трубе. Придется ей ночевать на холодной кочке, под дырявым листом, где нет ни картошки, ни сладкого чая. Мишка задумался и поглядел на темное бабушкино лицо (она говорит, что от солнышка потемнела) и решил ей все рассказать.

— А ты бы пустила стрекозу до самого лета? — спросил он под конец рассказа.

— Да не жалко... Пусть бы пожила, каждая тварь жить хочет, — поразмыслив, решила бабушка.

— И я бы пустил, — согласился Мишка.

Этой ночью ветер дул особенно настойчиво, и часам к одиннадцати заскребся в окна промозглый дождь. Мишка ворочался во сне, и бабушка несколько раз подходила к нему с керосиновой лампой.

* * *

Людмила Васильевна жила невесело, по привычке. Ведь только для школьников ее уроки каждый раз приносили новость. Она же от них уставала, и от этой усталости не могла любить каждого ученика в отдельности. Ее маленького сердца, болевшего от каждого переживания, хватало только на то, чтобы любить всех сразу.

Гаечкина она любила не меньше других, но на этот раз он ее раздосадовал. Сейчас они стояли друг против друга, не способные договориться ясными словами.

Людмила Васильевна вдруг ощутила, что у нее начала дергаться болезненная жилка на виске, и ей очень не хотелось, чтобы кто-нибудь это заметил. Холодно, словно читая диктант, она спросила:

— Так как же должен был поступить муравей? Подумай, Миша.

Гаечкину стало жарко от вопроса, он взглянул на мальчишек, но увидел только розовые пятна вместо лиц. Эти розовые пятна темными пятнышками ртов шептали ему верную подсказку, но он отчаянно пробормотал:

— Пустить...

Молчание было долгим, и Мишка сам его прекратил:

— А если не пустит, то какая-нибудь птица унесет ее в теплые страны.

— Какая птица? Какие страны? — Людмила Васильевна сама, как птица, взмахнула руками и уронила указку. — У тебя кавардак в голове, Гаечкин...

Сквозь пелену в глазах новая двойка в дневнике подпрыгивала и гримасничала, и Мишка перестал на нее смотреть.

Это была вторая двойка. Первую ему поставили за веселую зубастую лошадь в тетрадке для чистописания. И когда он стал понемногу придумывать, что сказать бабушке, румяный толстячок вдруг сказал:

— Он все врет. Вчера он мне наврал, что у него ботинки-скороходы.

Весь класс засмеялся, а Людмила Васильевна поправила:

— Не врет, а обманывает...

Домой Мишка брел не торопясь. Листья уже не летели со звоном по ветру, а покорно лежали под настойчивым дождем, втоптанные в землю. Людмила Васильевна догнала его и спросила:

— Ну-ка, покажи свои скороходы, — и, взглянув на Мишкины ботинки, сразу определила: — Так ведь они женские. Скажи бабушке, что сейчас в магазине твой размер стоит, а то ведь засмеют мальчишки.

«Чепуха, — подумал Мишка, — женскими бывают только платья и юбки». Сейчас его больше интересовало, куда подевались птицы, кричавшие вчера над лесом, и он догадался правильно: они улетели на юг.



СТАРШИЙ БРАТ

Мишка жил в те времена, когда для того, чтобы взять два килограмма сахара, бабка брала его в магазин. Это называлось брать сахар «на двоих». Иногда очередь ругалась на бабку и на всех, берущих «на двоих» или «на троих». Но ничего, Мишка рос парнем добродушным. И когда одноклассник Васек в нечаянной драке вывихнул ему руку и его за это отхлестали ремнем, Мишка очень переживал за Васька.

В субботу пострадавшие сошлись, сцепились мизинцами и шепотом пробормотали: «Мирись, мирись, мирись и больше не дерись...» После этого переживать было нечего, и Мишка по дороге домой задумался о завтрашнем дне. Дома у Мишки жили только мама и бабушка. А праздновать с ними воскресенье скучно. Оставалось встретиться со старшим братом.

Зимой в пригороде славно. Нет ни грязи, ни пыли. Сугробы скрыли все по самые окна, светлые дымы колеблют на тропках-дорожках слабые тени, а если день освещен солнцем, то играют разными цветами хрустальные зерна снега.

В каждом проулке есть накатанная горка. Мишка ни одной не минул по дороге домой, но только на самой большой в его переулке он задержался, чтобы осмотреться кругом. Отсюда виден был далекий, запорошенный буранами лес.

Здесь-то и появился брат. Он похлопал его по спине пахнувшей бензином рукой (он был то шофер, то летчик) и сказал:

— Видишь, Мишка, с крыш сосульки сползли, и шапку можно набекрень сдвинуть. Завтра тоже тепло будет. Мы с тобой на лыжах в лес пойдем. Туда, где летом пионерские лагеря были. Или дальше. Если нам попадется заяц, то мы его трогать не будем. Зайцы — они не вредные. Потом, наверное, мы клад разыщем

— Какой клад? — задохнулся Мишка.

— Пугачевский, — ответил брат и пропал до завтра.

Мишка побрел домой, размышляя про клад.

— Если пугачевский, значит, там золотые сабли, пушки, монеты старые...

Утром, после завтрака, мама отчитывала бабушку за «белоголовку», распитую вчера с кумой.

— Раз уж пьешь, так не охай,— сердито говорила она.

— Мы свой век прожили,— непонятно оправдывалась бабушка.

Но тут, никем не видимый, пришел старший брат и сказал:

— Чего ты их слушаешь? Это дело не наше. Пошли.

— В лес пойдем? — улыбнулся Мишка.

— В лес.

Брат уже собрался. На нем была желтая меховая куртка, меховые сапоги, длинные с железными креплениями лыжи, как у одного офицера. У Мишки же лыжи были старенькие, на сыromятных веревочках, и меховой куртки он, конечно, никогда не носил. Но брату не завидовал, только гордился им по секрету.

К реке, за которой лес, ехать весело. Улочки сбегают к ней, словно ручейки, и вся дорога — пологая горка. Отталкивайся палками да катись! Брат маячил где-то рядом, только покрикивал: «Успевай!» «Все-таки он летчик, раз меховые сапоги носит», — решил про него Мишка.

На последнем крутом спуске к реке катались все пригородные мальчишки: на лыжах, на санках, на фанерках и на дырявых тазах. Знакомый паренек подошел к Мишке и попросил:

— Дай разок с палками съехать?

Мишка дал. Знакомый съехал и уже издали показал ему язык: догони, мол. Мишка недоуменно спросил брата:

— Что же делать?

— Не злись,— посмеиваясь, ответил он.— Вперед!

Мишка рванул с крутизны, и замелькали мимо румяные рожицы лыжников, но сквозь хлещущий по глазам воздух он видел удирающего к лесу знакомого.

— Бегаешь он, как заяц, и лыжи на нем отцовские. Догоним! — подсказал брат.

Мишка догнал его на середине реки, тот бросил палки и тяжело поплюхал назад, оглядываясь и задыхаясь.

— Трус! — крикнул ему вслед Мишка.

Потом они с братом долго шли вдоль реки, чтобы найти пологую тропу на обрыв, и когда Мишка карабкался вверх, то подумал: «Хорошо, если бы брат протянул мне палку. Но он такого никогда не делает. Жалко».



Они бежали по лыжне, пока их не перестали обгонять громко дышащие лыжники с белыми бровями и усами. Потом они зашли туда, где никого не было слышно, только потрескивали, как на костре, голые ветки и снег хрустел под лыжами, словно рядом хрупала сено лошадь-невидимка.

Лыжня поворачивала назад, но брат махнул на нее рукой:

— Сейчас начнем делать открытия.

И они пошли осторожнее, сами прокладывая себе путь.

«Хорошо, если бы брат протаптывал мне лыжню»,— снова пожалел Мишка.

Они выбрались на большую поляну, усаженную ровными сосенками.

— Открытие номер один,— сказал брат.

— Здорово! — согласился Мишка, потому что живых сосен он никогда еще не видел.

Похожие на школьниц, в пушистых шубах, они были ниже его. И к одной из них он присел.

— Если хочешь сорвать ветку, то сорви потихоньку,— посоветовал брат.

— Я не больно сорву,— согласился Мишка.— А шишки здесь есть? А зайцы? — Он стал всматриваться в чистый, как высокие облака, снег.

— Шишки — под снегом,— объяснил брат,— а зайцы сидят себе в теплых норах.

Тут Мишка заметил, что валенки уже остыли, а кожаные рукавички сгибаются трудно, как провололочные.

— Лови, держи меня! — закричал брат.

— Держи-и!..— повторил Мишка, и они побежали наперегонки, чтобы согреться.

Мишка смело съехал за ним в глубокий овраг, плюхнулся в снег и, лежа, осмотрелся. От него самого шел пар, над оврагом, над самыми низкими кустами, висело солнце, тяжелое, как осеннее яблоко. А брат показал ему на кусты, и Мишка увидел: словно алые леденцы висели на пухлых ветках ягоды шиповника.

— Это волшебные ягоды: поешь их — и нос вырастет длинный, как хобот.

Шиповник пришлось запихивать в рот горстью осторожно, чтобы не наглотаться семечек, и выдавливать из него кислый,



немного сладкий сок. Нос стал расти, вытягиваться. Мишка, давясь от хохота, наматывал его вокруг шеи, словно это был галстук, а когда смеяться не стало сил, сказал брату:

— Хватит, расколдовывай!

— Эники, беники...— прошептал брат, и Мишка спокойно оторвал наколдованный нос, а настоящий стал задумчиво отогревать ладонью.

Солнце упало за темные леса, в серых кустах видны были только яркие бусины шиповника и бледные, как роса в пасмурный день, звезды.

— Скоро ночь! — испугался Мишка и сказал: — Брат, пойдем назад, в город.— Но брат не ответил, и Мишка, поправив лыжи, выбрался из оврага один. Его брат часто исчезал без спроса.

Деревья и кусты уже почернели. Темнота, как лохмотья, висела на них, и Мишка шел вперед, не оглядываясь по сторонам, чтобы не испугаться. Варежки перестали сгибаться совсем. Мишка втиснул руки в тесные карманы пальто, так что палки теперь бесполезно волочились по снегу. Шаг у него был медленный, и он стал остывать.

«Ну хватит прятаться! Давай вместе идти или покажи хотя бы правильную дорогу!» — отчаянно подумал Мишка, и брат снова появился рядом. Он стал потихоньку рассказывать, как дома топится печка, а по радио передают веселые воскресные песни. Мама с бабушкой сварили пельмени и думают про Мишку: «Где его черти носят?» — а поэтому надо идти скорее.

Мишка заторопился. Из леса он уже вышел и увидел впереди длинный откос.

— Это узкоколейка, — напомнил брат, — отсюда и до дома близко. Видишь огни?

Они дрожали, словно отраженные в воде, и казались далекими, как звезды. Но брат сказал, что это только кажется.

— Теперь ты один доберешься, а мне по делам пора, — попрощался он и исчез, словно его и не было.

Мишка чуть не заплакал от обиды, так неохота и страшно было идти одному, но дом, печка, пельмени звали его подмаргивающими огнями. А на брата и обижаться всерьез нельзя...

В первом же проулке стало теплей. Ветер не гулял здесь так буйно, и, хотя путь был в гору, Мишке стало полегче. Под фонарем мелькнула ему навстречу тень прохожего, но Мишка не испугался. Это была женщина. Она осмотрела его внимательно и спросила:

— Наморозил сопли, лыжник? Да ты вправду обморозился, мальчик! — Она нагнулась к нему и стала растирать зеленой варежкой бледную Мишкину физиономию. — Ах ты, лыжник отчаянный! Где живешь?

— На Буранной.

Женщина довела его до самого дома.

— Ох и влетит тебе! Папка-то есть?

— Нет, наверное, — ответил он ей на прощание.

У ворот он задержался, чтобы придумать, где был, и тут снова появился брат. Лицо у него было виноватое и усталое, это удивило Мишку, но, помня обиду, он спросил:

— Ты зачем меня бросал сегодня? Страшно ведь одному ночью.

— Я недалеко был,— медленно ответил брат,— ты же сам знаешь, что тебе надо самому жить дальше. Растешь ведь. Добрался вот сам до дому — и молодец.

— А тетеньку ты навстречу послал?

Брат кивнул головой.

— Зря. Мне с тобой лучше всех.

— Вот чудак! — улыбнулся брат. — Но когда ты совсем пойдешь, что меня нет, тебе скучно станет.

— Не станет, не станет! — воскликнул Мишка.

— Ладно, мне пора насовсем уходить. А то я тебе только мешаю.

— А где ты жить будешь? — тихо спросил его Мишка.

— Везде! — издалека ответил он.

Мишка потоптался еще на пороге и, ничего не сумев придумать, с глазами на мокром месте шагнул в комнату, полную тепла, света и чьих-то расплывчатых лиц.





КАЛОШИ СЧАСТЬЯ

Мишка рос в бабьем царстве. В небольшом домике, поделенном дощатыми перегородками на несколько комнатусек, жили тогда он, мама, бабаня, коза Милка и кошка Нюра. А в соседях у него тоже была девчонка — его ровесница Флюра.

Маму он видел только по вечерам и по воскресеньям. Когда она возвращалась с работы, чаще всего он был уже в постели и, согреваясь под пахнущим телесным теплом одеялом, смотрел на ее усталое и красивое лицо в свете вечерней лампы. Он смотрел, улыбался и так засыпал.

Бабаню он тоже, конечно, любил, но они были вместе целыми днями, а разговоры с ней получались какими-то досадными. Спросит он:

— Бабаня, а почему редиска снаружи красная, а внутри — белая?

— Ты бы шел да умылся как следует. Вон уши-то! Ты ими что, грядку оглаживал? Иди, говорю, умойся, а то бог возьмет да накажет.

— А как накажет? — дерзил Мишка.

— Картошки в ушах насадит, вот как!

Ну, с Нюрой и Милкой Мишка почти не общался. Нюра плодила котят для всей улицы, у нее было много своих забот, а грязно-белая коза Милка, после того как ее козленок утонул в старом уличном колодце, стала задумчивой и необщительной козой.

А вот с Флюрой у Мишки была тайная и давняя дружба. Тайна тут была необходима. Настоящими-то Мишкиными друзьями были пацаны, а они бы задразнили его, узнай про это.

Флюра, светловолосая и голубоглазая татарочка, очень любила выдумки, но выдумывать сама не очень умела. А Мишка, напротив, хотя и перешел с грехом пополам в третий класс, за-просто превращал несколько брошенных на просушку горбылей в трехмоторный бомбардировщик и, главное, уважая девчоночью

слабость, позволял Флюре брать с собой в полеты куклу Розу и не слишком круто пикировал на фашистские танки. Симпатия между ними, в общем, была взаимной.

Конечно, вряд ли эта тайна оставалась бы тайной для пронырливых мальчишек, но дело в том, что между их дворами не было забора. По меже, правда, местами рос крыжовник, и Мишкины родители обирали его с одной стороны, а Флюрины — с другой. Наигравшись с пацанами, он пробирался из своего двора к Флюре, и подолгу они сидели на согретых за день досках старого, кривого крыльца.

Мишка, к примеру, вдохновенно врал, как однажды он не просто видел парад, а сам участвовал в нем, то есть шагал рядом с настоящими солдатами, и так в ногу, что ему дали за это поддержать в руках настоящую золотую саблю.

Они сидели так, пока мурава возле крыльца не превращалась в ряды марширующих солдатиков и пока бабаня не кричала ему со своего порога: «Ми-ша, сынок! Пора, спать надо!»

Из-за этой-то дружбы и запало в Мишкину голову одно серьезное соображение. Хотя и странно, что при том ветре, который в ней гулял, не вымело это постороннее для коротеньких мальчишеских мыслей семечко.

Собственно, запало оно не из-за дружбы с Флюрой, а из-за мамы. Из-за дружбы оно, пожалуй, проросло.

Случилось это так. Было Первое мая. Бабаня налепила пельменей. В гости тетя Тося какая-то пришла, и мама — водки она в рот никогда не брала — выпила с этой Тосей целых две рюмки.

Разговор у них шел женский и стыдный какой-то для Мишки. Мама — видно, потому, что опьянела, — не замечала заалевших Мишкиных ушей и всего Мишку и не гнала его из комнаты. Из этого разговора Мишка узнал: у него есть отец. И не погиб он после войны как красный командир-пограничник, а жив, но живет не с ними, а с какой-то сукой.

— Я ли его не кормила, не обшивала, а вот в офицеры за войну вышел, и ему швея простая — неграмотной дурой стала! А он знает, паразит, что я все семь классов на пятерки тянула? На золотую медаль меня готовили?.. А он... эх, кобелы! — И мама становилась некрасивой и плакала.

Мишка тогда незаметно выскочил в сени и тоже плакал, а соображение запало. И вот какое: отец, оказывается, встретился

с мамой сразу после победы. На танцах. Раньше они друг друга не знали. Ну и не договорились, наверное, как следует, чтобы не бросать друг друга. Вот они-то с мамой знают давно, и ни он ее, ни она его никогда не бросят.

Значит, когда он вырастет большим, станет чьим-то папой, и у него может случиться такое? Если, конечно, не договориться сразу с этой будущей своей мамой, то есть с мамой того, чьим он, Мишка, будет папой.

Справедливости ради нужно сказать, что было еще одно соображение, самое первое. Найти этого своего папу и притащить домой. Но мама говорила тогда и потом, когда Мишка к ней пристал, что тот — негодяй, что теперь ей его и на дух не надо, кобеля опоганенного. А главное, Мишку охладило то, что отец его теперь уже не офицер, а какой-то там торговый работник в мясном магазине. И ему представлялся грузный, в захватанном белом фартуке мужчина, с толстыми, как морковки, пальцами, с прилипшими к ним крошками мяса. Поэтому, видно, он и проходил в маминых объяснениях как опоганенный кобель. В общем, это соображение выветрилось, а второе, серьезное, — осталось. Ну а с кем договариваться насчет будущего — ясно. С Флюрой. Будь Мишка взрослым, сказал бы, наверное, себе: «От добра добра не ищут».

С утра Мишка маялся. Он решил сегодня же поговорить с Флюрой. Он краснел и даже потел немного, когда представлял, как это все будет, но отступать себе не позволял. Уже переходя через межу, он вспомнил, что сегодня у него — арифметика. По арифметике он учился из рук вон. И Елизавета Михайловна раз в неделю ждала его в своей чистенькой учительской квартирке.

Это был, конечно, серьезный предлог для того, чтобы отложить объяснение, но Мишка сжал кулаки, крепко зажмурил глаза, сказал сквозь зубы: «Трус, трус, трус!» — и зашагал к Флюриному крыльцу. Перед дверью Мишка остановился и сказал: «Так...»

Ноги у него немного немытые, но в новых сандалиях этого не видно. На коленках болячки (это его велосипедист недавно задел) — это ладно. У Флюрки тоже одна такая есть на левой коленке. Так... Уши его позавчера заставили вымыть... На всякий случай он вытер ладонью нос и чуть ли не впервые услышал, как что-то в груди стучит: гук, гук, гук...

Мишка догадался, что это сердце, и стучало оно так гулко, словно было не с кулак, а с целую голову. Вдруг распахнулась дверь, и сердце метнулось под горло. На пороге встала Флюра с мокрой тряпкой в руках.

— Ты... ты чего стоишь и не стучишь? Ты чего, заболел?

— Нет,— сглотнув, ответил Мишка.

Он понял, что здесь ей ничего не скажет. Это надо сказать в особом каком-то месте.

— Флюр, давай это... пойдём на Кривое. Я там тебе что-то скажу.

— А что? — разулыбалась Флюра.

— Я там скажу. Тут нельзя.

— Ну, пошли,— согласилась она.— Только ты пока пилотки сделай от солнечного удара, а я полы домою. На, держи газету...

Они шли по горячей и легкой, как воздух, пыли, а впереди уже был виден выщипанный, сожженный солнцем выгон и за ним — зеленая окантовка Кривого озера и само озеро с редкими ветлами на том, крутом берегу с белесой, словно выцветшей на жаре водой.

— Да сними ты сандалии, иди так,— посоветовала Флюра. Сама она была босиком.

Мишка послушался.

— Это я надел, потому что мне сегодня к Елизавете Михайловне идти.

— Ты что, не пошел? Ну и дурак! И так ведь у тебя двойка с половиной по арифметике! — Флюра даже остановилась.

— Да пошли! Вот скажу когда, тогда и скажешь: ду-ра-ак! Флюра блеснула на него глазами и пошла дальше.

На выгоне, в желтой, объединенной, вытопанной траве, звенели и метались, треща то красными, то голубоватыми крыльями, кузнечики, словно не было никакой жары и не было на свете лучшего для жизни места, чем этот скучный выгон.

Но вот он и кончился. Пошли огороды с цветущей картошкой, и уже виднелись впереди зеленая щетина осоки и высокие лезвия камыша.

Земля жгла ступни, как раскаленная голландка, и они, не сговариваясь, побежали к воде. А подбежав, встали. Подойти к воде с этой стороны было нельзя. Она отступила, оставив растрескавшуюся, тугую землю, но возле осоки эта земля была



влажной, а дальше становилась топкой и страшной. Но она так ласково освежала ноги, что Мишка сказал Флюре, указывая на четкие отпечатки их ступней:

— Смотри, какая приятность!

Флюра глянула на него одобрительно. Неожиданное слово ей понравилось.

— Я теперь все следы буду так называть.

— Не-ет, все нельзя. Только эти,— серьезно возразил Мишка и, внезапно решившись, выдал: — Флюр, давай с тобой поженимся! Не сейчас, а вырастем когда.

— Ну и дурак! — не раздумывая, брякнула Флюра и отвернулась.

Дополнения насчет «вырастем» она не услышала.

Мишка опустил и голову, и плечи, но не онемел. Он такого ответа и ожидал. Все-таки не первый год он дружил с Флюрой и через нее чуточку знал девчонок. Сами только и делают, что играют в дочки-матери, а скажи им об этом — сразу дураком будешь.

— Да ну тебя, ты послушай сначала,— не поднимая головы, заговорил опять Мишка.— Я же говорю: когда вы-рас-тем. Это чтобы у нас железно было. Это ведь договор такой. Вот моя мамка...

И он бестолково, но понятно все-таки для маленького Флюриного сердца рассказал все свои соображения. Ведь и у нее в доме отца на сегодняшний день не было. Пропадал где-то. А Мишка что же, он ей нравился. Он никогда не стрелял из рогатки по воробьям, не таскал кошку за хвост и однажды даже сумел починить ее любимую куклу Розу, у которой оторвалась гуттаперчивая голова.

Милые пригородные улочки, заросшие сизыми вениками, полынью и муравой. Дома через один с поредевшими, как выбитые зубы, заборами, окнами в забитых пылью трещинах, зовущие мужиков с умными мастеровыми руками. Вдовьи дома. Детям они, конечно, не виделись такими. Но горе матерей, лишившихся мужей то ли на войне, то ли из-за нее, вздохами, случайными жалобами, песнями в редком застолье доставало и их.

Флюра уже представляла, как приведет она в дом большого и доброго Мишку, как починит он страшную лестницу в подпол и выгонит за порог вечно пьяного дядю Марсея.

— Ну, давай,— вздохнув, сказала она.— Только когда вырастем. А то сейчас,— она снова вздохнула,— мама не разрешит.

Слов у Мишки уже не было никаких. И он только думал без слов, как скрепить этот договор.

— Ну... дай пять!

И они серьезно трянули друг другу руки, как делают после большой ссоры.

— Я тебя ловлю-у! — закричал окрыленный Мишка.

И они затеяли самую простую игру, которой дети научились, наверное, у щенят.

— Флюр, иди сюда! — позвал Мишка.

Он стоял под сломленным грозой осокорем и что-то разглядывал в его корнях. Он выпрямился и округленными глазами глянул на Флюру.

— Смотри, это... это...

На земле аккуратно, словно у порога дома, стояли невиданные какие-то резиновые боты бордового цвета.

— Это калоши счастья! — объявил Мишка и закусил палец.

— Ну да, счастья,— неуверенно протянула Флюра.— Смотри, драные какие внутри.

— Да ты не знаешь, не знаешь! — замахал руками Мишка.— Их ведь сколько людей перенадевало! Я сказку такую читал. Эти калоши... они только одно желание выполняют.

— Я тоже такую сказку читала,— взволнованно возразила Флюра,— только она не так как-то называется...

— Ну все равно,— поморщился Мишка.— Давай я первый желание загадаю!

— А какое?

— Знаешь, попросим, чтобы как-нибудь очутились в Америке. Ну, не насовсем, а так, посмотреть.

— А чего там смотреть?

— А там дома есть по сто этажей, везде кино показывают и негры ходят.

— Не-ет...— поежилась Флюра.— Да ты по-американски и словечка не знаешь! Я хоть еще по-татарски знаю, а ты?

— Ну, тогда, чтобы мы очутились на паруснике в море, а в паруснике — кадушки с золотом, и чтобы приплыли домой...

— А ты плавать умеешь? — прервала его Флюра. — А если утонем? Давай лучше я загадаю!

— А ты про что?

— Я сначала загадаю, а потом скажу, — непреклонно возразила Флюра.

Мишка уже натешился своей выдумкой и безо всяких калош собрался перенестись на шатучую палубу золотоносного корабля. Поэтому он милостиво ответил:

— Давай, загадывай!

Флюра, проверив, нет ли в калошах мышей или тарантулов, влезла в них и зажмурилась.

— Загадываешь? — вновь заинтересовавшись, спросил Мишка.

Флюра досадливо махнула рукой: мол, не мешай.

Желание ее было связано с Мишкиным предложением.

«Конечно, мы сейчас договорились, и это хорошо. Но ведь в августе мы разведемся по разным пионерлагерям, да еще потом целых семь классов учиться, да еще в пионерлагере — там же другие всякие девчонки будут!» — размышляла она, стоя в калошах счастья, и размышляла, в общем, правильно.

— Ну как? — крикнул ей Мишка, балансируя на поваленном осокоре. Он уже сражался с волнами на своем корабле.

— Никак. Не получается ничего, — ответила Флюра.

— А что ты загадывала?

— Я? Я загадала, чтобы мы с тобой сразу стали большими.

— А-а! Это хорошо бы. Нас дома, может, и ругать перестали бы за всякую ерунду.

— Да не понимаешь ты, — грустно сказала Флюра. — Мы бы тогда сразу и поженились.

— А-а! — только и ответил Мишка. К немедленной женитьбе он был совсем не готов. Тут он глянул на свои ноги и тревожно спросил: — Флюр, а где мои сандалии?

— Откуда я знаю? Там где-то, — пожала она плечами.

«Пусть хоть его сандалии найдутся, а то ему два раза сегодня попадет», — и, сердитая, скинула калоши с ног.

Она уже тоже не верила в калоши счастья, но когда Мишка, размахивая сандалиями, закричал: «Вот они, здесь они!» — Флюра удовлетворенно подумала: «Ладно, хоть тут помогли».



— Вот он, голубчик,— встретил его на пороге дома знакомый голос.

Елизавета Михайловна сидела за столом с мамой. Они пили чай и перемывали ему косточки. Ему казалось, они злорадно наблюдали, как он медленно вытирает ноги о половик и пристраивает возле вешалки пыльные сандалии.

— Ну... спасибо за чай. Пойду. Вы уж без меня побеседуйте.

Проходя мимо него, Елизавета Михайловна сделала вид, что хочет дать ему затрещину (чего никогда не делала), и сказала:

— Завтра чтоб был!

Учительница ушла — и началось!

— Да до каких пор ты из меня кровь будешь пить! Да троечник ты невылазый! Да люди к тебе с добром-помощью, а тебе, шантрапа уличная, все бы чертей по задворкам гонять!..

Покипевшись немного, мама продолжала спокойнее:

— Миша, ну останешься в третьем классе на второй год. Ну, выгонят из школы. С тремя классами-то куда тебя? Куда-а? Быкам хвосты крутить? В колхоз? Так и там сейчас полная школа нужна. И там считать надо. Ты смотри — везде сейчас грамоту требуют. А безграмотный-то кому ты нужен?

— А я женюсь! — неожиданно для себя выпалил Мишка и перестал дышать.

— Что? Как? — опешила мать.

— Я на Флюрке женюсь, она согласна, когда мы...

На кухне что-то грохнулось. Бабанька там брыськнула, что ли, на кошку и громко сказала:

— Ну, мать, опять новые траты. Придется еще один горшок покупать. Невесте-то, чай, отдельный нужен, с цветочком каким...

— Ты... погоди,— ответила ей мама. Губы у нее странно скривились.— Погоди, мама, мы тут сами разберемся.

— Я же говорю — когда вырастем,— хрипло прошептал Мишка.

— О-ой, не могу! — закатилась на кухне бабаня.

Мама поднялась, захлопнула дверь на кухню и вернулась к столу.

— Ну... ладно хоть не завтра, сынок,— мягко сказала она, а глаза у нее не то что смеялись, а прямо-таки хохотали.

И у Мишки все засаднило внутри, как бывает при крайней несправедливости. Все как-то перемешалось в этой дурацкой ругачке, и его никак не понимают. А объяснять у него уже не было сил. Сквозь спазмы начинающегося плача он только выдавил:

— Я... не хочу... чтоб ты... чтоб как... он... этот...

— Ну, погоди, погоди, погоди реветь. Ты, значит, договорился, что ли, с Флюрой заранее? Так?

Мишка только кивал. Обида за этот смех в глазах занозой сидела в горле. Он не верил еще, что мать поняла его. Да и разговор шел о том, что надо все-таки учиться, что и Флюра за взрослого дурака-второгодника все-таки не пойдет. Но рука матери так властно и тепло обняла его голову, что заноза таяла и таяла и почти растаяла совсем.

Вечер он даже провел за учебником арифметики. Обида иногда покалывала, но все реже и тише. А лежа в постели, он забыл о ней и позвал мать:

— Мам, а я сегодня калоши счастья нашел. Там, в одном месте.

— Ну? А чего же не принес? Счастье-то в доме — не лишняя табуретка.

— Ну... они сломанные, что ли, были. Флюрка хотела, чтобы сразу взрослыми стать и чтобы сразу поженились. И ничего не исполнилось,— рассказывал он игру.

«Эх, зря я опять про это!» — подумал он, задремывая, и снова его легонько кольнула обида.

— Да нет,— отозвалась мама.— Просто вам умные калоши попались. Сразу взрослыми! Чего ж тут хорошего? Поживи уж со мной, сынок.

— Ладно... мне и без калош с тобой хорошо,— пробормотал он, и глаза у него сами закрылись.

Он уже не видел склоненного над ним лица матери с блестящими и от этого такими молодыми глазами.



СУББОТНИК

Если в дверь к Александру Клавдиевичу звонили, то это означало, что пришел неизвестно кто, но если раздавался глухой стук в нижнюю часть двери — значит, пришел Субботник.

Субботником прозывался его внук Андрейка, но не за то, что приходил он к деду по субботам, а за страшную, хотя и понятную в его возрасте энергию.

В прошлый приход, например, он успел нарисовать на бабушкиных выкройках танковый и воздушный бой, куда-то задевать дедовы очки, рассыпать в кухонном буфете банку с мукой, потому что ему померещились там мыши, и обстрелять с балкона неизвестного кота семенными помидорами деда. Все это — в двадцать минут.

Понятно, что жить с Субботником было интересно, но хлопотно, и родители с удовольствием отправляли его на выходные к старикам.

— А-а, наш Субботник пришел, — расплылся улыбкой дед, услышав знакомый стук.

Сегодня Субботник вошел в квартиру боком и тихо. Вскинув голову, он глянул на деда и прошел в комнату, которая по выходным предоставлялась ему. Там он остановился, как бы не зная, чем заняться, а наблюдательный дед заметил, что ухо у него напряженно торчит в сторону двери...

«Ага-а!» — сказал про себя дед и был прав.

За дверью кто-то по-мышиному завозился, зашикал, и наконец раздался звонок.

Дед раскрыл дверь и увидел сначала соседа по площадке.

— Тут к вам пришли, — почтительно сказал сосед. — Тимуровцы, наверное.

У его ног стояло трое ребятешек: две девочки и мальчик. Они, как и Андрейка, были в форме с октябрятскими звездочка-

ми, и дед догадался, что они одноклассники внука и шли за ним следом.

— Андрей Лысов тут сейчас живет? — спросила самая смелая девочка — белесая, с невидимыми бровями толстушка.

— Сейчас тут живет, — признался дед.

— Мы пришли высказать ему осуждение, — продолжила девочка.

— Что, что? — переспросил дед и наморщил лоб.

— Осуждение, — не так уверенно повторила она. — Он из нашей звездочки. Нам учительница поручила высказать ему осуждение и чтобы родители на него подействовали.

— Он ведет себя плохо, — виновато, видно очень стыдясь за Субботника, сказал мальчик.

— А-а! Ага! Ну, понятно, — сказал дед, хотя и мало что понимал. — Тогда его, что ли, сюда нужно?

Он ввел насильно переставляющего ноги внука в переднюю, крепко взял его за плечи и повернул его лицом к октябрятам. Субботник же повел носом вправо и вверх и как можно отвернул голову в сторону, что вовсе не означало виноватой покорности, а только решимость претерпеть все, для него уготованное.

— Ага! — снова смекнул дед. — Не так-то здесь все просто...

Дед и внук стояли рядом и на сто процентов были родней: круглолицые, голубоглазые и такие сивые, что у деда не видна была седина. Наверное, поэтому часть Субботниковой вины само собой переходила на него. По крайней мере, толстушка отчитывала их обоих.

— Лысов, ты плохо себя ведешь. Вчера ты с мальчишками так носился по двору, что сшиб с ног уборщицу тетю Аню. Потом ты мучил пчелу: привязывал ее ниткой и заставлял летать.

— И ничего не мучил, — встрял в осуждение Субботник. — Я опыт делал: чья это пчела — дикая или домашняя?..

— Помолчи, — оборвал его дед. Он чувствовал, что все это мелко для Субботника и главные его вины — впереди.

Девочка строго посмотрела на Лысовых.

— А еще он неправильно рега... реар... — Она сбилась, покраснела, а мальчик еще более виновато подсказал:

— ...реагировал на замечания командира звездочки.

— У нас в дневнике все записано,— оправившись от смущения, сказала толстушка, взяла у второй, молчаливой девочки тетрадку и передала ее Александру Клавдиевичу.

Тетрадь была озаглавлена «Дневник командира звездочки. Пятая неделя».

Он внимательно изучил все, что произошло на пятой неделе, и вынужден был признать, что с Субботником связано большинство происшествий.

— «...на замечание командира звездочки не дергать Аллу Иванову за волосы бил командира звездочки по голове»,— грустно прочитал дед.— Так вот как ты неправильно реагировал?

Александр Клавдиевич наморщился и сильно потер переносицу, словно собирался чихнуть, и спросил:

— А кто же у вас командир звездочки? И чем он его бил-то?

— Я,— тоненьким голоском ответила молчаливая девочка.— Он не больно бил. Тетрадкой. Только все равно... А Алка эта вообще не из нашей звездочки,— неожиданно горячо заключила она.

— А еще, когда Иванова заплакала, он обозвал ее мокрой цаплей, а извиняться не стал,— совсем потеряв голос от ощущения вины, прошептал мальчик.

* * *

Когда октябрюта ушли, дед обратился к внуку:

— Ну вот что, троечник противный, послуняйся по квартире, и чтобы молчком, а я подумаю, что с тобой, поросенком осужденным, делать. И считай, что тебе повезло — бабки дома нет!

Дед ушел в туалет курить и думать, а Субботник слонялся по квартире и прислушивался, все больше впадая в смятение,— дед в туалете фыркал и всхлипывал, словно подавился дымом.

Субботник очень нелегко пережил осуждение. Обычные шалости, записанные на бумаге, представлялись не подлежащими прощению проступками, и неизвестно еще, что там при-



думает дед, который, похоже, плачет над его бедовой головушкой... Э-эх!

— Так зачем же ты эту Аллу за косу дергал? — вкрадчиво спросил дед.

— Низачем,— буркнул Субботник.

— Тогда почему?

— Нипочему.

— А я вот знаю и зачем, и почему!

— Почему? — осипшим голосом прохрипел внук.

— Да потому, что она тебе нравится и на тебя, противного троечника, внимания не обращает. Так, что ли?

Субботник вспотел. Дед попал в самую серединку. Он очень хотел дружить с Алкой и, сломленный дедовой пронизательностью, заговорил:

— Мы же раньше с ней дружили! В первом классе. А теперь она все Толик да Толик. Я раньше ее дерну — она меня книжкой хлоп! И обоим смешно. А сейчас чуть-чуть тронешь — как плакса плачет... У нас скоро день класса будет. Ну, как утренняя, только после уроков. Я ее спрашиваю: «Ты в каком платье придешь?» А она: «В немазаном сухом, в каком Толик скажет!» И такая ехидная, как ехидна.

Дед слушал его внимательно и чему-то улыбался.

— Цапля, ехидна... Ты кончай этот зоопарк, — сказал он и продолжил: — В общем, так, осужденный. Извиняться тебе перед ней придется, и так, чтобы это отложилось в садовой твоей голове надолго. Знаешь, где она живет?

Субботник кивнул.

— Значит, мы сейчас идем к ней, ты извиняешься и даришь ей цветы.

Субботник повел было носом вправо и вверх, но дед точно так же повел носом и повторил веско:

— Цветы. А иначе миру между нами не бывать.

Миром с дедом Субботник дорожил даже больше, чем миром с родителями, и поэтому понял, что не миновать ему ни извинения, ни цветов.

— У меня же на цветы денег нет, — глупо возразил он.

— Ничего, я тебе займу, — успокоил его дед.

* * *

В горячей Субботниковой голове плохо запечатлелось, как в насквозь стеклянном магазине они купили пахнущие горелой листвой и снегом астры. Как брели по яркому осеннему парку прямо к Алкиному дому.

Перед выходом из парка, когда до Алкиного дома осталось только перейти дорогу, дед остановился.

— Давай-ка посидим, ты приготовься малость, осужденный.

Они сели на скамейку, дед закурил.

— Небось никогда девочкам цветы не дарил?

— Конечно, не дарил! Спрашиваешь еще,— возмущенно ответил Субботник и отвернулся.

— Я вот тоже не дарил и, представь, жалею.

Дед на секунду сощурился, словно от пучка света, и скроил непонятную какую-то улыбку.

«Жалеет,— подумал про него Субботник.— А сам рожи строит».

Он даже отвернулся от деда.

— Ты хоть посмотри на цветы-то. Чего даришь, рассмотри хорошенько!

— Чего смотреть? На болонков похожи,— прежним убитым тоном сказал внук.

— Ну конечно! И близко не попал. Болонка — собака глупая. Не искупают — будет ходить грязная, как половая щетка, да и трусливы они. А эти — чистые, гордые, как изо льда! И ведь смелые, до самого снега на клумбах стоят.

Субботник взглянул на цветы и подумал: «И правда, какие чистые... ледянистые...»

Случайно он перевел взгляд на лучи солнца в дыму и будто уловил какое-то родство между ними и этими гордыми цветами. Но какое — ни сказать, ни додумать он не сумел.

Вся встреча с Алкой Ивановой пронеслась в смятенной душе Субботника, словно вихрь. Но запомнил он этот вихрь хорошо. Уже перед самой дверью он рванулся было, чтобы котенком прыснуть вниз, остудить пылающие, как горячие оладьи, уши. Но дед кратко сказал: «Не трусь» — и поставил его рядом с собой.

А потом, еле-еле проямлив извинения, Субботник сунул в руки потрясенной Алки астры и пробормотал:

— Это тебе... эти ледянистые...

Алка ничего ему не ответила, осторожно взяла цветы, словно они впрямь были изо льда и могли разбиться, и только ойкнула. А когда ойкнула, то астры вдруг отразились в ее глупых и милых от удивления девчоночьих глазах.

Он вошел в класс и отыскал Алку глазами. Она точно заметила его, но даже не обернулась. Субботник устроился за своей партой, то есть прямо у нее за спиной, и потянулся к такой соблазнительной, цвета осенней листвы, косице. Он сжал ее в кулаке, но не дернул. Вернее, он дернул, но только для виду, и сказал шепотом:

— Привет!

Алка тут же хлопнула его дневником и тоже для виду, и тоже шепотом ответила:

— Привет!

И им обоим стало смешно.

А командир звездочки вздохнула и сказала толстушке:

— Надо его в ихнюю звездочку переводить. Ничего на него не действует.





КОРАБЛИК

Андрейка, смуглый двенадцатилетний мальчишка, меланхолично мотая портфелем, поднимался по лестнице на пятый этаж. Он был в том рассеянном состоянии, когда человеку не хочется вспоминать о чем-то не очень приятном, но очень важном.

А между тем учительница поставила перед ним вопрос ребром: либо он начнет новую жизнь и станет старательным, хорошим учеником, либо она не даст ему никакой жизни.

«Ты, милый мой, не учишься, а скачешь, как кузнечик. По истории у него, видите ли, пятерки бывают, про Магеллана он рассказывает, словно песни поет, а русский и математика — из рук вон. Не-ет, не пойдет такое дело. Отличника из тебя не выйдет, но писать грамотно, считать на четверку ты у меня будешь! Митрофанушки мне в классе не нужны» — так закончился выговор.

Грубовато, конечно, но зато учительница редко вызывала в школу родителей. Она говорила, что родитель нынче пошел ленивый и нелюбопытный. Андрейка прикинул, что если он потребует у своих ленивых и нелюбопытных родителей рубль, то сможет купить новые тетради, новую ручку, свежий ластик — словом, все необходимое для новой жизни.

Хорошо бы галстук купить новый, а то этот совсем обмахрился, и даже кляксы какие-то на нем есть.

Андрейка подошел к двери, по которой видно было, что нередко открывали ее пинком ноги и раз пять меняли замок, и, отвернувшись, несильно лягнул ее. Лягнул еще раз, но за дверью было тихо.

«Ну, вот, — подумал он, — начинай тут новую жизнь!»

Все это означало, что отец, по собственному выражению, либо уже «нализался», либо наливается где-нибудь в гаражах. Значит, до прихода матери домой не попасть. Да и что толку попасть? Разве можно начать новую жизнь, если мамка и отец начнут очередную ругачку? А они ее начнут — будьте спокойны.

Андрейка швырнул портфель на грязный коврик и спустился к окну на лестничной клетке. За окном он увидел скучный осенний двор, весь в блеклой мозаике жухлых листьев. А в темной деревянной беседке на перилах сидели девчонки из его дома, болтали ногами и языками, конечно. И очень были похожи на озябших октябрьских воробьев под крышей. Андрейка махнул рукой на новую жизнь и побрел вниз, в беседку.

— Привет,— буркнул он девчонкам.

Они, как положено, захихикали, зашептались.

«Вечно делают вид, что чего-то такое знают»,— подумал Андрейка, достал спичечный коробок и начал жечь спичку за спичкой, внимательно разглядывая пламя.

Девчонки между тем продолжали болтать. Болтали они, разумеется, вздор — о том, кому и на чем приходилось летать.

— Я с папой летала на четырехмоторном самолете. Там все так шумит, так трясется, так у него крылья шатаются, прямо ужас!

Девчонки ахали, широко раскрывали глаза и незаметно начинали привирать про воздушные ямы, горящие моторы и прочие страсти.

Одна только Надюшка из его подъезда пока ничего не выдумывала и молча смотрела на флажок пламени в Андрейкиных ладонях. Потом она посмотрела на серое, низкое небо, вдруг глянула веселее и вмешалась в разговор:

— А мой папа летал на воздушных змеях! Только меня он с собой не брал, потому что там место только на одного и детям вообще нельзя. А когда я вырасту, он меня тоже научит на змеях летать!

Девчонки ошарашенно смолкли.

— Вот врет-то! — почему-то рассердился Андрейка. — Во-первых, на змеях никто не летает. Нет такого большого змея, чтобы он мог человека поднять, а во-вторых, у тебя и папки-то никакого нет.

Вот этого «во-вторых» Андрейка говорить не собирался. Как-то само собой выскочило.

Подружки перехихикнулись между собой, а Надюшка спрыгнула с перил, глянула на Андрейку в упор и отрывисто сказала:

— Нет, есть. Есть! И на змеях летал. И корабль подарил с парусами. Хочешь, покажу, хочешь?



«Уже и реветь собралась»,— испуганно подумал Андрейка.

— Ну, покажи, покажи,— как можно мягче сказал он.

Надюшка побежала домой.

Андрейка из родительских разговоров знал, что папка у Надюшки вроде бы был, но куда-то пропал. Живет она у бабушки и называет ее мамой, потому что настоящая мама приходит к ней по выходным, и то не всегда.

Снова хлопнула подъездная дверь, и Андрейка успел заметить, что это прошел отец. Он не запутался в дверях и не пристал к старухе, которая вышла подышать воздухом,— значит, был в норме.

...Надюшка влетела в комнату, сбросила куртку и полезла под кровать.

— Ты чего там потеряла? — удивилась бабушка.

— Ну, мам, надо мне,— досадливо ответила она и вытащила на свет ящик со старыми игрушками.

Были тут кубики, забытая кукла с растрепанной прической и закатившимися навсегда глазами, кругляшки от пирамидок и поломанные дешевые брошки. Когда-то все это было настоящим богатством, а теперь с каждым днем забывалось и становилось ненужным.

Был тут и корабль с парусами. Вернее, это была модель яхты. Когда-то нарядная, с красной ватерлинией и высокой мачтой, она напоминала про далекие моря. Но ватерлиния облупилась, мачта сломалась, а паруса порвались. С яхтой произошло то, что и должно было произойти с кораблем, так и не отправленным в плавание.

Она, яхта, разрушилась от безделья. Нет, такой не похвастаешься. Надюшка вздохнула, задвинула ящик назад, в подкроватную тьму, и почувствовала, что вот-вот заревет. Все же она успела накинуть куртку и выйти из дому без рева.

Нахохлившийся на скамейке Андрейка проводил ее взглядом и отметил, что никакого корабля у нее не было. Он уже успел догнать отца на лестнице, и тот дал ему рубль на новую жизнь, правда с сожалением покрутив его в пальцах. Андрейка смотрел, как Надюшка уходила за дом, и размышлял о том, что его папка все же лучше, чем совсем никакой. К тому же летом он почти не выпивает и берет его с собой на рыбалку.



...За домом в густо заросших кленах была конура, сложенная ребятней из фанерных ящиков и обломков шифера. В конуре иногда жил приبلудный пес Жек, считавший всех ребятшек своей родней. Взрослых он недолюбливал. Взрослые иногда награждали его пинками.

К нему и пришла Надюшка. Жека в конуре не оказалось, и Надюшке стало еще тоскливее. Она просто вспомнила, как давно они с папой мастерили яхту, как папа обещал ей, что они вместе пойдут на реку и отправят ее в плавание. И там, куда приплывет этот кораблик, они построят дом и будут жить. Насчет дома, впрочем, она придумала сама, но ей казалось, что так говорил папа. Она попробовала вспомнить его, но вспоминались только руки с длинными крепкими пальцами и желтый, чем-то перебитый ноготь.

Она услышала, как зашлепали по Андрейкиной куртке мокрые ветки, и к ней вышел Андрейка, а за ним мокрый, как все вокруг, но совершенно счастливый Жек.

— Чего же ты спряталась? — нерешительно спросил он.

Надюшка гладила Жека по голове, всхлипывала и молчала.

— А корабль не нашелся, что ли? Ну, чего ты... Ну, подумаешь...

Андрейка замялся, не зная, что сказать еще, потому что Надюшка горько махнула рукой и отвернулась от него. Жек сочувственно взвыл.

Надюшка наконец ответила успокоенным и скучным голосом:

— Да нет, нашелся. Просто он поломанный весь.

— Вот подумаешь! — обрадовался Андрейка. — Да ты тащи его сюда, слышь? Тащи, тащи. Я его запросто налажу. Думаешь, не сумею? Да говорю тебе — запросто!

Надюшка посмотрела на него внимательно, вздохнула и пошла за яхтой. Совсем неинтересен стал ей вдруг этот корабль, но раз уж Андрейке так хочется...

— Х-хе, отличная яхта! Только мачта нужна новая, паруса приклеить, а здесь покрасить, — он ткнул в днище, — и будет как новая.

* * *

Надюшка проснулась, бодро села на кровати и уставилась в окно. С кровати ей было видно только умытое солнечное небо, и как бы в небе парила на чистых бумажных парусах новенькая яхта. Она долго смотрела на нее. Они с Андрейкой решили сегодня испытать яхту в подходящей какой-нибудь луже, но у Надюшки созрел другой план.

— Андрейка, а давай пойдем на Урал и отпустим ее в настоящее плавание, — предложила она, когда они встретились во дворе.

— Но... она же тогда совсем уплывет, — ответил Андрейка и с сожалением посмотрел на яхту.

— Ну и что? Зато у нее будут всякие приключения, и вообще так интереснее...

«И правда, положат ее опять в коробку, поломаются вся», — понял он.

— Ладно. Пошли на реку. Только если там спросит кто, скажешь, что ты моя сестра. Поняла?

Андрейка свистнул Жека, и они вдвоем отправились к реке.

День был солнечным, а вода такой прозрачной, что можно было выбирать камушки на дне возле берега. Андрейка настроил руль так, чтобы яхта вышла на середину реки.

— Полный вперед! — сказал он и оттолкнул кораблик.

Почти не качаясь, он ровно пошел к стрежню.

— Ур-ра! — закричал Андрейка. — Самый полный!

Жек заметался по берегу, залаял — ему, наверное, показалось, что ребята упустили кораблик. А Надюшка стояла молча и спокойно улыбалась. Когда он вошел в течение и парус стал то и дело пропадать в солнечных бликах, она сказала про себя:

— Кораблик, плыви за папой...





ВОВКА, СИВКА, ЕГОРКА...

Он растяпа, этот Вовка. Олег же его предупреждал! Деревенские — ребята хорошие. Но — их надо авторитетом брать. После этого они станут друзьями — во! Олег гаркнул это «во!» на весь автобус и всему автобусу показал большой палец.

А с авторитетом вот что вышло.

Олег-то в Ольшанке сто раз был. Он только вылез из автобуса, крикнул только: «Здорово, Ольшаки! Как зимовали?!» — и к нему сразу кинулись мальчишки: Минтин, Витек и Егорка. Расхватили вещи и понесли к дому его родни — дяди Васи и тети Марьи. Когда их тут было авторитетом брать? Дом-то — вот он, рядом: только грейдер перейти — и по лужку, по-гусиной травке...

А у самого почти дома на Вовку пошел какой-то сивобородый козел. Чего он от Вовки хотел — неизвестно. И Вовка на всякий случай попятился, споткнулся и шлепнулся прямо на коровью лепешку. Она оказалась подсохшей и от штанов сразу отпала. А Вовка вскочил и отряхает ее, отряхает... А козел смотрит на него пристально: мол, ты чего? Не умеешь себя в деревне вести?

Витек с Минтином ка-ак захохочут, за ними — Егорка (самый ведь маленький, сопливый еще). Хохочут, корчатся, вещи у них из рук падают...

Тут в доме визгнула — отворилась дверь и, штанами цепляясь за калитку, на лужок выскочил дядя Вася.

— Сивка! Ты как это гостей встречаешь, паразит?!

Как наддаст ему сапогом — козел в сторону, а мальчишки совсем, до икоты, зашлись. Егорка аж на траву сел.

За дядей Васей и тетя Марья выскочила. Чмокнула на ходу Олега — и к Вовке:

— Боднул он тебя, негодник? Испугал, подлец бородатый? Ну, мы его!..

В общем, наговорила о козле и о Вовке, чего и не было вовсе. Да еще приобняла его, как девчонку.

— Ах ты, малахольный! Побледнел-то как! Город-то о-он чего с детьми делает... Ну, ничего-о, я тебя молочком отпою-у,— утешала она Вовку.

Мальчишки уже не смеялись, только смотрели на него точно как на малахольного.

А он в этот момент и не слышал ничего. Он как бы провалился сквозь землю. И остались на земле — одни уши, горящие, как от мороза.

Таким, провалившимся, он и сел за стол. Он даже есть не хотел.

Но Олег сердито сказал:

— Ты чего это нюни распустил? Тренинги наши забыл? Ешь давай!

Все-таки вот Олег. Он даже не улыбнулся, когда это кино закрутилось. Он — друг. А другое дело — воля у него железная.

Олег быстро умял свою тарелку пельменей с картошкой и сказал Вовке на ухо:

— Да, старик, с авторитетом фук получился. Поднимать придется, старик.

— А! — отмахнулся Вовка.— Накидали коровьих лепешек, хоть кто споткнется.

Он поблагодарил тетю Марью за ужин и пошел во двор. Пусть ей пока Олег родственные новости рассказывает.

«Олег сказал надо — значит, надо», — оглядываясь во дворе, послушно думал Вовка.

Но посмотри-ка, и без авторитета ему здесь очень интересно.

Коровы ходят по улице, невзирая на правила движения. Усадьбы, в отличие от городских, все раскрыты, и сквозь небрежные, щелястые заборы видны бидоны и горшки, надетые на жердины, поилки для уток и кур, сами утки и куры и как они бродят по двору, не замечая друг друга... А вон и хозяйку видно. Вернее, одну ее синюю юбку в зелени огорода. Она кладет горячую от работы ладонь на поясницу, и все соседи слышат ее облегченное «о-о-охх!».

А дом дяди Васи какой интересный! Он в этом порядке,

пожалуй, самый распоясанный. С весны не беленный, он ободран дождями, как уличный кот. Ставни, рамы, крыльцо — все кривоватое, давно не крашенное. Бедный совсем дом. А сам дядя Вася — бедным не кажется. И вон — слышно сквозь дверь — советуется сейчас с Олегом, какую бы ему купить машинешку для сельской местности...

Деревню затопили сумерки. Воздух стоял синий, густой. Его можно было пить, как молоко из погребца. Под навесом лежали козы. Они, наверное, вспоминали хриплые крики человека на коне, обжигающий свист кнута, вздрагивали всем хребтом и вскакивали.

Отдельно, за перегородкой, находился Сивка. Его, видно, наказали. Он жевал какую-то дранку, смотрел на Вовку дерзко: мол, как я тебя на лепешку посадил?

А на скамейке за воротами одиноко сидел Егорка, и его голова светилась в сумерках, как одуванчик. От него слышалось какое-то «бубубу... ду-удуду-у...». Это Егорка скучал и пробовал петь.

Вовке стало жалко его одного в сумерках, и он позвал:

— Эй, иди сюда!.. Тебя Егоркой, что ли, зовут?

— А тебя как зовут? — спросил Егорка.

— Меня Вовкой... Вот, понимаешь, смотрю я на этого козла и думаю.

— Чего думаешь? Он тебя испугал?

— Да ничего он меня не испугал. Я думаю: может, он и бодать меня даже не хотел?

— У меня тоже. В школе, — торопливо поддержал разговор Егорка. — Я весь второй класс на тройки закончил... Мамка расстраивается. Говорит: «В пастухи пойдешь». А там, в стаде, бык знаешь какой! Не то что козел... А Сивка что?.. Он, может, думал, что у тебя хлеб есть. Козлы часто так думают. Видишь, вон деревяшку какую-то жует...

Вовка сказал: «Я сейчас» — и вернулся в дом. Тетя Марья сидела за столом и читала письмо, переданное Олегом, и улыбалась написанному. Олег все еще толковал об автомобилях с дядей Васей, который прямо в одежде раскинулся на кровати.

— Ты чего? Заскучал? — подняла на Вовку глаза тетя Марья.

— Нет. Мы там с Егоркой. Можно я хлеба на улицу возьму?

— Не наелся, что ли? А чего же из-за стола ушел? Садись тогда, доедайся.

— Я Сивке хочу дать...

— Ох, городские! Сам худющий, а Сивке дать... Ну, дай. Посоли только. Он, глядишь, не будет тебя бодать. Мой-то все пинками скотину учит.— Она повернулась к дяде Васе и внезапно закричала: — Ты когда перестанешь скотину пинать?!

— А чего он на людей кидается! И еще его отпинаю,— отозвался дядя Вася с кровати и зевнул.

Вовка выбежал во двор. Сумерки стали гуще, но где загон, он увидел сразу. Егоркина голова светилась теперь там. Они вместе перегнулись через ограду загона и разглядели Сивку. Тот все жевал свою dranку.

— Сивка, Сивка!..— позвал его Вовка.

— Не подойдет,— огорченно прошептал Егорка.

— Тогда я сам к нему подойду,— дрогнув, сказал Вовка и вошел под навес.

А Сивка решил, что и этот человек-недоросток хочет пнуть его под ребра. Он метнулся в угол и уставился на Вовку как на врага. Но Вовка ткнул его в морду хлебом. Сивка удивился, втянул ноздрями запах и осторожно взял хлеб послушными, как пальцы, губами. Он бережно прожевывал его, потеплевшими глазами глядя сквозь Вовку, словно видел сейчас далекую страну козьего счастья...

Из дому вышли тетя Марья и Олег с большими охапками постелей в руках и стали расстилать их на топчане за домом. Топчан был широким и сколочен из неструганных, неровно отпиленных досок.

— Дождя не будет,— говорила тетя Марья.— Здесь спите. А в избе духота-а...

— А ты чего спать не идешь? — спросил Вовка Егорку.

— А я с вами... Я летом всегда с Олежкой ночью.

— А дома сказал?

— Они знают,— махнул рукой Егорка.

Когда тетя Марья ушла, Олег сказал:

— Вовк, Егорка не ушел? Идемте, старики, закусим на ночь, в деревне так полагается.

На свободном крае топчана стояла банка свежего молока и



миска холодных пельменей от ужина, прикрытая пучком зеленого лука. Они весело взялись за еду, и так легко все это в них влетело, словно они и не ужинали недавно. Правда, Егорка очень хорошо помог.

Потом они лежали поверх одеяла и смотрели на звезды. Вовка никогда не видел неба такого — чистого, не смешанного с электрическим светом. В таком небе звезд много. Им тесно. Кто-то закидал огромную тьму снежками: иные пристыли целено, а иные брызнули в разные стороны снежным крошевом...

Вовка пригляделся, и оказалось, что звезды-снежки — это близкие звезды, а есть глубже их — колючие, как острия игл. А за ними — еще звезды, мельче самой пыли... Да и не пристыли они, они мерцают и шевелятся, как живые, и вся эта тьма, полная звезд, дышит... Небо вздыхало и шевелилось так, словно по нему одна за другой медленно проходили невидимые из-за тьмы волны, и звезды, качаясь на этих волнах, сплетались в ясные светящиеся очертания каких-то людей, зверей, птиц...

В одной заманчивой книге Вовка читал о них как о живущих на земле, и вот они в небе живут холодной, сверкающей жизнью. И вон там, между ними, протиснулся и засверкал серебряными рогами Сивка... И вон... что?.. Вроде мальчишка, на одуванчика похож. Вовку цапнуло беспокойство, и он протянул руку — Егорка был тут.

Вдруг Вовка понял, что слышит сейчас не небесное, а усталое, земное дыхание.

— Егорка, слышишь? Дышит кто-то,— спросил он (Олег уже спал).

— Ага,— шепотом ответил Егорка.— Это корова в сарае дышит. Она целый день на жаре паслась, вот теперь и дышит.

Потом Вовка услышал короткое чиханье и побряхтыванье, словно рядом совсем с топчаном ворочался и никак не мог заснуть худенький какой-то, простуженный старичок.

— Это козы. Сивка это,— успокоил его Егорка.— Он совсем как человек чихает. А это сверчок звенит. Слышишь?

И Вовка услышал еще один звук: длинный и тонкий, как струночка,— трриннь, трриннь, тррриннь...

— Знаешь, а самое страшное — спать на сеновале! — ожив-

ленно зашептал Егорка. — Там мыши все время возятся и есть еще такой... Сеношник. Проти-вный такой! Страшный... Он все копается в сене. Как ужик. И пошипывает так же. Искру ищет. Найдёт — и раздует её в огонь! Поэтому на сеновале даже и чиркнуть спичкой нельзя. Се-ношник...

Теплый, Егорка сам понемногу задремывал, но все шептал про сеношника. Сверчок все тренькал, а звезды шевелились... Так Вовка и уснул.

II

Олег сердился на Вовку, доказывал:

«Неправильная у тебя улыбка, старик. Из-за улыбки и с авторитетом фук. Ну, терпи, старик, сейчас я тебе правильную улыбку нарисую».

И кисточкой без краски стал рисовать ему на губах правильную улыбку. Вовка рассердился и проснулся.

Он согнал с лица муху, сел и зажмурился от сверкающего со всех сторон неба.

Олег завозился рядом, зачмокал, а Егорки в постели не было. Он стоял с дядей Васей у козьего навеса, а тот, опершись на связанные вилы и грабли, бубнил:

— Ты на них не смотри. Они там, в городе, до головной боли, может, доучились. Им необходимость нашим воздухом отдышаться. А ты, Егорка, им каждодневно дышишь. Тебе отцу с матерью помогать надо. Вон зады-то ваши как заросли! Покошил бы хоть серпом — да вечером корове и дал. Сам знаешь, как нынче пасут...

Вовка слушал дядю Васю улыбаясь. Так хорошо!.. Будто в нем пляшут и взрываются щекотные, бодрящие пузырьки, как в стакане с газировкой.

— ...Покоси для коровы-то зады,— настойчиво рекомендовал дядя Вася.

Егорка смирно слушал его, ничего не отвечая, и ковырял бо-сым пальцем землю.

К ним, с порога уже смеясь, подошла тетя Марья:

— Ты на свои зады посмотри, горе! Да не на огородные... Где побелку-то собрал? Вроде и дом целый год не беленый.

— Чего зады! Чего зады! — рассердился дядя Вася. — Ты-то тоже хороша хозяйка! Пирог-то у тебя подгоре-ел! А теперь вот Сивка рванул куда-то до стада. Ищи теперь...

— Ладно, «ищи»! Его не доить, — легко возразила тетя Марья. — Пой-дем, ты мой расхороший! Грех в такую погоду ругаться.

Она обняла его и направила к калитке. Дядя Вася шел, но переступал ногами так, что видно было: еще сердится.

— Ты соображай все-таки... Я воспитательну речь говорю, а ты — зады...

Он обернулся у калитки к мальчишкам и сказал громко:

— Вы, ребята, под навесом не шибко играйте. Там подпорки ослабли. Упадет еще, придавит кого...

— Во какой ты у меня заботливый! — засмеялась тетя Марья уже за калиткой.

Освобожденный Егорка повернулся к Вовке и заулыбался. А Вовка и так давно уже улыбался. Он свесил с топчана ноги и сказал:

— Привет, Егорка!

Хорошо ему было! Совсем ведь другое дело: проснуться — а над головой не потолок какой-то, а все небо!

Да и жизнь тут по-другому начинается. Вот у него по утрам: мамка с папкой собираются на работу, что-то роняют, скучно и серьезно как-то ругаются. Папка авторучку потерял, ищет и жует на ходу завтрак, у мамы грохнулось что-то на кухне... Суетятся, и шаги их рассыпаются по квартире нервной дробью, пока не клацнет замком входная дверь... Совсем тут все по-другому.

— Так, старик, — полусонным голосом сказал за спиной Олег, — самый раз сегодня авторитет поднимать.

Он спрыгнул с топчана и пошел в дом. А Вовка озаботился и улыбаться даже перестал.

После завтрака Олег пояснил, что они с Вовкой разыграют дуэль на шпоночных пистолетах. Были у них такие. Они из них в городе каждое воскресенье стрелялись. В этом и заключались их тренировки, про которые Вовка забыл после столкновения с Сивкой.

Ольшанские мальчишки, конечно, ничего подобного не видели. Егорка это подтвердил.

— А какая дуэль? Насмерть? А пистолеты покажи! — пристал он к Олегу.

— Все увидишь, старик, — пообещал Олег. — Иди пока за Витьком и Минтином.

...Ребята уселись на хлыстах, напротив освобожденного от постели топчана.

Сидели они серьезно. Как-то к ним в Ольшанку приезжал театр. Взрослые тогда в клубе не только на них, но даже друг на друга цыкали. Семечек никто не грыз... И тут... зашел Олег на топчан, глянул на них — и они сразу почувствовали себя как в театре.

Олег, значит, глянул на них и прорычал что-то не сразу понятное.

«Благор-родный Вор-рогей» — вот что он прорычал. Это он, оказывается, Вовку так для дуэли окрестил, потому что по фамилии — Егоров.

— Тр-ребую, — зарычал он дальше, — смертной дуэли! До пер-рвой крови!

И тут только Егорка увидел табурет. А на табурете — деревянные пистолеты с резинками, как у рогаток, согнутые крючком гвозди, пузырек с йодом и бинт.

Олег прыгнул с топчана и обычным голосом сказал:

— Вовка, щиток не забывай.

Они разобрали пистолеты и встали — каждый у своей на траву брошенной доски, означающей барьер.

Вовка прикрыл глаза фанеркой с дырочками и повернулся, как у них полагалось, всей грудью к Олегу.

Даже обычной резинкой и бумажной шпонкой можно прилично щелкануть товарища, скажем, в ухо. У пистолетов же — специальная, втрое скрученная резинка, а шпонки — из гнутых гвоздей. Так что фанерный щиток для глаз совершенно необходим.

Нехорошая игрушка.

Но дело вот в чем. Олег хотел стать спортсменом, а быстро бегать не мог. Ни просто так, ни тем более на лыжах. Он задыхался при беге: у него была искривленная носовая перегородка, а горло от всякого пустяка, вроде холодной воды или мороженого, опухало ангиной.

Он сам напросился сразу на две операции: на долбежку в

носу и вырезание гланд. Вот и начал к ним готовиться: тренировать волю и терпеть боль.

Игра нехорошая. Но с другой стороны, взрослые-то?.. Ну чего они придумали хорошего для подготовки к долбежке в носу и вырезанию гланд? «Не плачь, деточка, потерпи» — вот все, что они придумали.

...Самое противное в этой дуэли — стоять вот так и смотреть в дырочки, как Олег нарочно медленно целит то в голое пузо, то повыше. Вот, кажется, в губы.

«Наверно, в губу саданет», — подумал Вовка и сглотнул.

Он скосил глаза и увидел, что посмотреть представление вышел шелковисто-рыжий петух. Он холодно оглядел Вовку и Олега, вспомнил недавнюю какую-то победу, взлетел на ограду загона и заорал о ней. Вовка удивился, какое у него огромное, огненное горло. И — цак! Шпонка вцепилась в лоб. В голове зазвенело, словно сильно шелкнули по фарфору. Петух исчез. А на лбу у Вовки остался отпечаток шпонки.

— Мой выстрел, — облегченно вздохнул он.

Целился он тоже долго. И когда Олег чуть шевельнул губами, выстрелил в щеку.

Шляпка гвоздя чуть рассекла кожу, и на ней выступила капелька крови. Олег снял ее пальцем, слизнул и рухнул на траву.

— Я убит!

Егорка онемел от переживаний. Минтин с Витьком недоуменно переглянулись.

— Глянь. По правде лупят, — странным тоном сказал Витек.

Минтин согласно кивнул. Почему-то их не устраивало, что именно по правде лупят.

— А вообще здорово бьет! — заговорил Минтин. — Наверно, ворону подшибить можно... или сороку.

— Ворону не возьмет. У вороны перо жесткое, — возразил Витек.

— Мстить-то за меня будете, ольшаки? — обиженно спросил оживший Олег.

Минтин с Витьком снова переглянулись, и Минтин сказал:

— Не-а. Лучше уж их на воронах попробовать.

— Трусите, что ли? — поддразнил их Олег.

— Чего трусить, — спокойно возразил Витек, — просто чего зря лбы ковырять? Лучше и правда по воронам...



— Трусов нету,— поддержал Витька Минтин.— Я вон прошлое лето ка-ак саданул вилами в ногу — наскрозь!

— А орал-то как!.. — усмехнулся Витек.

— Ну орал же, а не трусил...

Олег понял, что игра отыграна, вздохнул и сказал:

— Ладно. Умру неотомщенным. Пусть будет воронья охота.

А Егорка все ерзал на хлыстах, морщился и наконец не выдержал:

— Я... я мстить хочу. Олежк, дай я отомщу, я еще ни разу в дуэли не стрелял.

Олег, хмыкнув, зарядил ему пистолет. Наверное, был доволен, что хоть Егорка загорелся дуэлью.

— А ты теперь меня как назовешь? — обратился Егорка к Вовке.

— А как твоя фамилия?

— Томилин.

— Ну... благородный Нилимот.

— К барьеру-у! — закричал Егорка и запрыгал от нетерпения.

Вовка снисходительно глядел сквозь фанерку, как дергается пистолет в непривычной Егоркиной руке. И вдруг — зззыннь! Вовке вмиг вспомнился зубо врачебный кабинет со всеми его запахами и звуками.

— Умм... поосенок, попал! — вымолвил он.

Егорка охнул, бросил пистолет на траву и подбежал к нему.

— Сильно больно, да? — прошептал он.

Вовка, зажав рот, отмахнулся. Егорка взял у него фанерку и решительно встал у барьера.

— Благородный Егор-ров, теперь твоя очередь,— сказал он, прикрывшись фанеркой и сморщился так, что все его веснушки спрятались под нее.

Сначала Вовка хотел, из-за боли наверное, хотя бы хорошенько щелкануть Егорку по пузу. Но потом он вспомнил какого-то дворянина, который как-то очень красиво не стал стрелять в своего противника, чуточку поцелился в собранный щепоткой Егоркин нос, вздохнул и выстрелил далеко мимо его уха.

— Нечестно! Он нарочно промазал! Я видел! — закричал Егорка.



— От. Совсем мальчонку спортили,— усмехнулся Витек.— Давай, давай! Счас он тебе раскровянит губу-то...

Но Вовка, хоть и понимал он Егорку, отказался стрелять еще раз. Пощадил — значит, пощадил. Очень уж ему было приятно от этого. Все тот благородный дворянин вспоминался.

От Егорки все отвернулись и заговорили о вороньей охоте.

А Егорка насупился и отошел в сторонку. Он зарядил все-таки сам пистолет и неловко, на вытянутых руках направил его на себя.

Тут снова вышел петух и заорал прямо с земли, словно бы на Егорку.

— Опустни ниже! — успел крикнуть ему Олег.

Шпонка щелкнула Егорку как раз в ямочку под горлом. Видно, хорошо щелкнула: у Егорки выкатились слезы, он икнул и стоял секунд пять, не дыша и не разговаривая.

— Вот теперь порядок. Все перебиты! — бодро сказал Олег.

А Вовка удивленно думал, как это Егорка всю его пощаду смазал? И вообще, если бы настоящая дуэль: пощадишь вот так, а он, если такой же, как Егорка, благородный, сам застрелится...

По заросшему сизой муравой проулку они спустились к речке Ольшанке, где рос в одном месте старый вяз с вороньими гнездами.

Вовка потихоньку спросил Егорку:

— Ты зачем стрелялся? Вот вышиб бы глаз...

— Да-а. Тебе больно было, а в меня ты нарочно промазал,— ответил он и посмотрел на Вовку так, словно ждал от него еще чего-то.

Вовка остановился. Егорка тоже. И они пожали друг другу руки.

III

Нет. Город — он город и есть. Там, если даже тебя не мучают уроками, не гоняют по пустыкам в магазин, все равно день проходит суетливо.

Время то тянется прямо, как пожарная кишка, то галечкой проскальзывает сквозь пальцы...

Там ведь не видно, как взошло солнце. Как набежали с запада тучи и передрались до грома и молний — только сразу хлещут по асфальту светлые прутья дождя. И как заходит умытое этим дождем солнце, тоже не видно в городе. Там оно садится не в степную траву и не в колючий лес, а вязнет высоко над горизонтом в грязно-розовой мгле.

А это все важно! Вовка заметил, как строго ведет себя время в деревне. Оно спокойное, и много его. Оно тут постоянно под присмотром неба и солнца.

А в городе слишком много домов, куда ни солнце, ни небо не заглядывают. Потом — тесные переулки, подземные переходы, подвалы, подъезды, подворотни... Много мест, в которых время само по себе и может своевольничать как захочет.

А в деревне? Сколько всего переделано (в том числе выяснено точно — шпонка ворону не берет), а солнце встало на макушке неба — и все обед да обед...

...После обеда Минтин с Витьком повели компанию в лес на свой — Минтин щегольнул городским словом — «фирменный» малинник.

Они шли по лесу, зажатому между холмами. Часто приходилось нагибаться под согнутыми дугой стволами черемух. То далеко, то совсем рядом журчала петлястая речка Ольшанка, а Минтин все обещал, что вот сейчас они к ней выйдут.

А вышли сначала на поляну. Такую веселую! Хоть Вовка и мальчишка, но вот ромашки его поразили. Они росли по ближнему краю поляны широкой молочно-золотистой каймой. И каждая ромашка ну не меньше блюдца!

Вовке захотелось сказать о них что-нибудь особенное, и он сказал:

— У нас такие только на базаре продают!

— Во-от,— гордо отвечал Минтин.— А у нас они — дармовые.

Они перешли молочную речку ромашек, и поляна ясно пошла под уклон. А казалась ровной. А это — трава. Чем поляна ниже, тем трава тянулась выше. И вот уже толстые стебли чемерицы с головой накрывают их мясистыми, как у фикуса, листьями.

— А тут змеи есть? — спросил Вовка.

— Есть,— со вздохом ответил Егорка.

— Сколько хочешь,— подтвердил Минтин.— Покричать надо либо попеть, они и разбегутся. И он закричал странную какую-то песню:

Ва-а калы-хозе денег нет,
Га-рох немо-ло-че-о-ный!

— Хватит уж. Они и так уж давно разбежались,— буркнул Витек. Не любил он, когда кричат.

Олег тоже не любил. Он любил простые и четкие команды и предложения.

— Вперед, старики! — кратко предложил он, и мальчишки пробились сквозь заросли травы к речке.

Она текла под обрывом из красного песчаника, и край, прижатый к обрыву, тоже был у нее красным. А вся она не скрывала выложенного пестрыми голышами дна — такая была прозрачная.

— Какая чистая... В ней, наверно, никто не живет? — спросил Вовка.

— Ага, «никто»! — возразил Егорка.

Он взял голыш со дна и показал его Вовке с обратной стороны. На этой стороне голыш порос буровой подводной травкой, и в ней ползали какие-то безглавые козявки.

— А это что? — ткнул Вовка в небольшой продолговатый нарост из разноцветных галечек и песчинок.

— Ручейник это, троечник ты противный! Это домик ручейника,— определил Олег.

Минтин предложил расковырять домик, чтобы взглянуть на хозяина, но Вовка не дал. Он быстро опустил голыш в воду.

По узенькой, чуть заметной тропе они вскарабкались на обрыв и очутились на вырубке. Это и был малинник: запах малины, жара и шмелиный гуд, словно звук этой жары... Вовка пожалел, что маловато попил вкусной воды из Ольшанки. Здесь точно скоро захочется пить!

А малина, оказалось, не вся еще подошла. Но наесться можно было. Вовка наедался не так, как Минтин — торопливо, по одной ягодке. Он набирал ягоду в горсть и потом уже запихивал ее в рот.

Когда наелись и повернули назад, Минтин показал им тропу, проматую в траве кем-то большим и тяжелым.

— Это медвежья!

Егорка шепнул Вовке, что Минтин пугает. Это корова прошла. Он дал Вовке потрогать клочок рыжеватой шерсти. Минтин услышал явный Егоркин шепот и горячо заспорил:

— Сам ты корова! Это медведь такой — рыжий. Они у нас разной масти бывают. Вон папка у меня — тот пегого медведя видел!

Олег — пятерочник все-таки по природоведению — аж онемел. А Витек возразил солидно:

— Ну да! Папку твоего до сих пор этим пегим медведем дразнят... Папка у него на колхозного быка Пегаса напоролся, ну и придумал: мол, медведь...

Осмотрев шерсть, он задумался.

— Это не корова... У наших коров шерсть короче и рыжее. И вот... Видите? — Он показал два жестких седых волоса. — Это лось прошел.

— Хоть и лось, — примирился Минтин. — Лось не хуже медведя в лесу хозяин.

— Это точно. Так что не очень ори. Выйдет на ор-то да начнет разбираться, — сказал Витек.

Все притихли. А Вовка этому удивился. Он-то считал, что лось добрый такой — вроде коровы. А его вон боятся.

— Ну да, добрый... Особенно осенью. Ка-ак саданет передним копытом — наскрозь грудь прошибает.

...Назад они шли по дороге, пробитой в мелком, молодом лесу, высоко над речкой и ее поймой. Вовка совсем не соображал, куда они идут, но не спрашивал ничего — шел и шел. И, как и Олег, не показал виду, что обрадовался, когда лес запестрел березовыми стволами и кончился. Внизу, под пологим холмом, лежала Ольшанка — редкие разноцветные крыши среди зеленых заплат огородов. И ни души. Даже возле домишки-магазина — никого.

Между ними и деревней был еще старый парк школы-интерната. И они решили зайти туда — «добить» тети Марьин пирог.

Деревья в парке росли квадратом, а в деревьях тянулись три темных аллеи. Одна шла прямо к выходу. Вторая — к бывшей барской усадьбе, перестроенной под интернат. А третья — в самый глухой угол парка. По ней они и пошли. Там стояло еще

одно кирпичное здание — бывшая барская контора. Его ни под что не перестроили, но и сломать толком не сломали. И оно пугало теперь прохожих пустыми черными окнами и широким зевом расширенного для чего-то входа.

Солнце уже заметно садилось, и здесь под столетними лиственными и лохматыми елями было совсем по-вечернему.

— Главное, я прям чувствую, как он на меня оттуда смотрит,— неожиданно сказал Минтин.

Все взгляделись в черные окна, и всем показалось что-то такое же.

— А кто это — он? — спросил Вовка.

— Да-а...— будто не слыша его, продолжал Минтин,— здесь черт живет. Это все наши старики знают. Вон прошлогодний-то пастух!.. Ногу-то он тогда из-за него сломал. Зашел туда, а там, над подвалом, пол кое-где выломан. А черт стоит в углу... Глаза горят... И манит: «Иди ко мне. Я тебе денег дам!» Тот не хочет, знает, какие деньги, а идет. Не хочет — а идет. И ка-ак навернулся в провал! Еле вылез. А нога — сломанная.

— Да брось ты! — отмахнулся от него Витек. — Он, твой пастух, пьяный был. Все говорили.

— Ну и что? Он как увидел черта — сразу протрезвел. А как упал — сразу перекрестился. А то бы он его точно загрыз.

— Зачем загрыз? — округлил глаза Егорка.

— Чтоб душу вынуть. Заче-ем...

— Ну и темнота вы у меня! — покачал головой Олег. — Там, — он указал пальцем в небо, — космонавты круглосуточно вкалывают. А тут у вас — черти!

Олег пихнул Вовку коленом в колено и губами показал слово: авторитет. А вслух сказал:

— Ну-ка, Вовка, сходи в разведку. Выведи этого черта на чистую воду.

Вовка поморщился. Ну дался ему этот авторитет!.. Конечно, какие могут быть черти! Но с другой стороны, с этими ребятами ему и так хорошо.

— Темно ведь уже. Там все равно ничего не увидишь, — нерешительно сказал он.

— Что за «темно»? Ты чего, испугался? — возмутился Олег. — Перед входом зажмуришь глаза, досчитаешь до пяти — и входи! Все увидишь!

— Не-е, я бы не пошел,— подзудил Минтин.— Вот вы не верите, а он там точно живет. Он такие места любит...

Сумерек прибавилось, и от этого слова Минтина стали как-то убедительнее.

«Пропади он пропадом, этот авторитет»,— вспомнил Вовка мамину приговорку. Так славно было сидеть с теплым Егоркой рядом, видеть, как начинает светиться одуванчиком его голова, ужасаться вместе со всеми от Минтиновых рассказней... И вот — нá тебе! Иди в эту черную дыру... А может, и правда там кто-нибудь есть? Не черт, конечно, а что-то вроде...

Вовка встал.

— Я с тобой пойду! — закричал Егорка. У него от решимости даже конопушки посинели.

— Вдвоем и дурак сходит,— отрезал Олег.— Или ты один иди, или я один.

— Двоим он не явится, двоим чего идти,— подпел Минтин. А Витек поглядывал на Вовку с ухмылочкой и молчал.

— Ладно, пошел я,— сказал Вовка.

Он понимал: Олег точно уж пойдет вместо него. Но тогда — хоть в другую школу уходи.

Он медленно зашагал к черному зеву. Егорка — за ним, но его окликнули: мол, сиди.

— Эй, ты креститься умеешь? — крикнул ему вслед Минтин.

— Да иди ты! — тихо сказал Вовка и остановился у входа.

Там была полная ночь. Он зажмурил глаза, досчитал до пяти — и вошел.

Его охватила холодная, как вода, тьма. Он с трудом сделал еще шаг. Казалось, что кто-то мягко упирается ему в грудь — не дает идти. Сердце стучало под самым горлом... Но тьма все же немного рассеялась. Вовка различил часть стены и дверной проем на другую половину здания. Он глянул в самый темный угол — и все! Прямо на него смотрели жуткие золотые глаза. Ноги у него приросли к полу (так во сне бывает), иначе бы он побежал. Ох и взвизгнул он, как три девчонки сразу! А потом засмеялся мелким, как дрожь, смехом и пошел на эти глаза. Он разглядел под ними знакомую сивую бороду.

Сивка вскочил, вспугнутый смехом, и встал.

— Сивка, Сивка, гад ты такой,— выговорил сквозь этот мелкий смех Вовка и попытался обнять козла за шею.

Но Сивка вывернулся, кинулся к выходу и замер там.

— Че-орт! — слышал Вовка Егоркин, кажется, голос.

Вышел на свет и тут почувствовал, как холодно было там, в здании.

Ребята обступили его. Они смеялись почти также, как он там, в темноте, смеялся. А Минтина среди них не было. Сивка же стоял поодаль и обдумывал эту картину.

— Молоток старик! Это по-нашему, — как-то даже с завистью сказал Олег. — Эй, Минтин! Иди глянь на своего черта.

— Да я в уборную тут бегал, — отвечал Минтин из-за дерева.

По улице они шли гурьбой и шумели. А за ними, как привязанный, аккуратными подхалимскими шажками семенил Сивка. Это Олег дал ему попробовать корку от пирога.

Егорка все рассказывал, как он перепугался, когда Вовка закричал и засмеялся не своим голосом, а потом — козлиная рожа из темноты...

А Минтин молчал, молчал и выдал:

— Это черт нарочно тебе Сивку подсунул. Он не любит, когда его не боятся.

— Ага! А когда боятся — любит, — поймал его Витек. — Он к тебе ночью целоваться придет.

— Ну да-а... Я креститься умею, — неуверенно возразил Минтин. — Да их, наверно, и правда нету. Скорее всего...

Во дворе их встретил дядя Вася. Он как раз загонял скотину во двор. Увидел он Вовку, прячущегося за него Сивку, и спросил:

— И где же это вы его обнаружили?

Все загалдели, объясняя где. А тетя Марья сказала:

— Вот, видишь? Без пинков нашли, привели... Всякое животное хорошее обращение понимает.

— А я чего? Против, что ли?.. — сказал дядя Вася. — Лишь бы на людей не кидался. — И отступил, пропуская Сивку в загон, под навес.

— Да, старик. Теперь ты — легенда. Минтин постарается, по всей деревне разнесет, — вздохнув, сказал Олег.

— А, ладно. Главное, мы Сивку домой привели, — ответил Вовка и немного, конечно, соврал.

Рад он был всему происшествию. В том числе и тому, что Витек его зауважал... Ну и тому, что Сивка оказался Сивкой, а не чем-то вроде... Это ведь тоже...

* * *

И эту ночь Егорка ночевал с ними вместе. За ужином они договорились, что пойдут завтра на Егоркин сенокос, сгребать сено в копешки. А то отец у него в больнице, а мать не управляется одна.

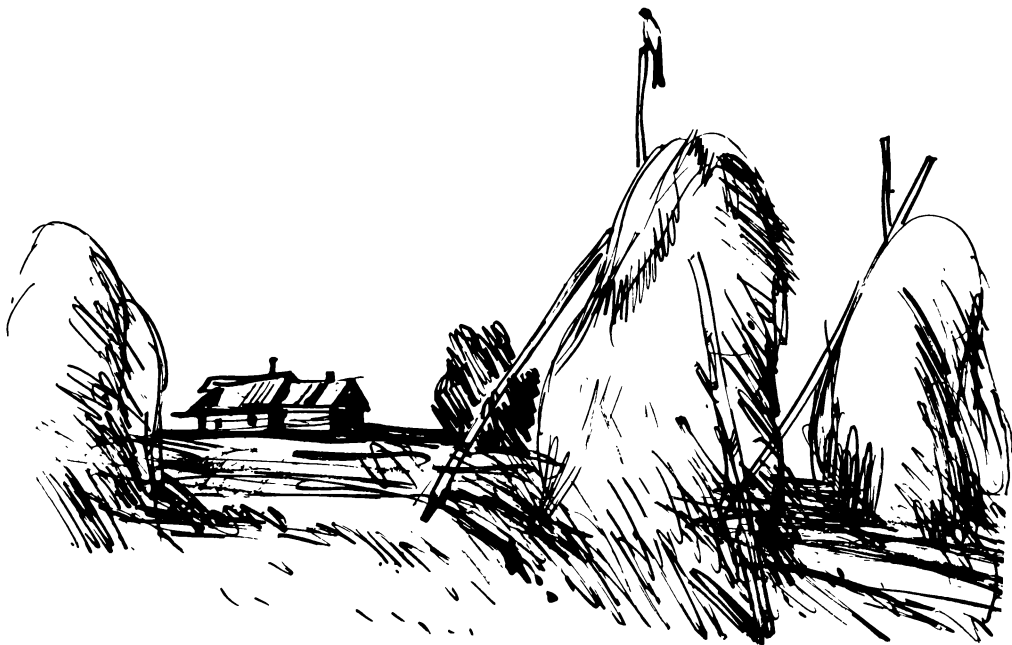
— Мамка тоже пирогов напечет и шанег,— обещался Егорка.— А ягода у нас на сенокосе какая!..

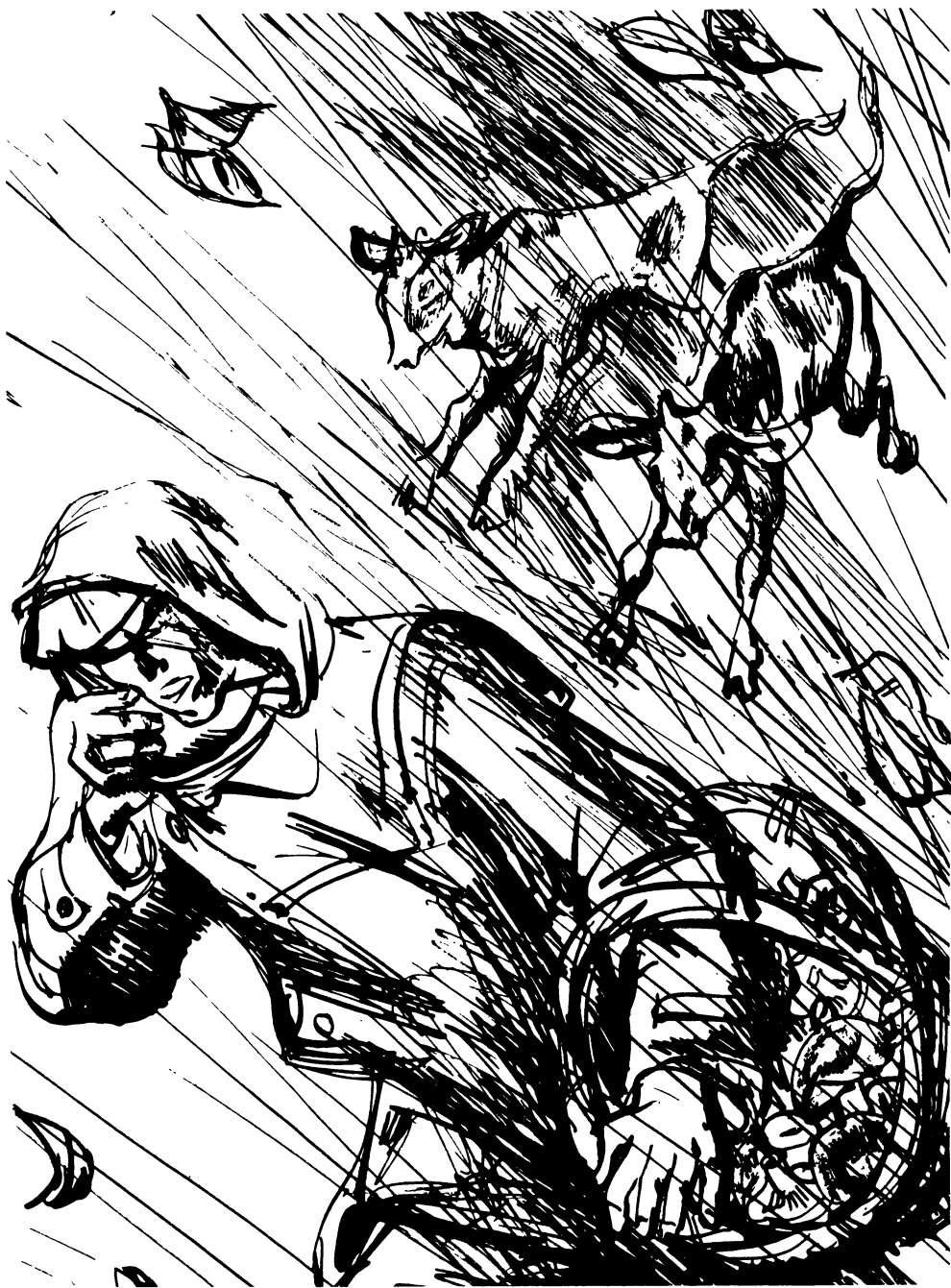
Когда они совсем улеглись, Егорка зашептал одному только Вовке:

— А знаешь, зачем я закричал? Я ребят звал... на помощь. Не веришь?

— Верю,— сказал Вовка и почувствовал в горле тот самый горячий комочек, который выжимает слезы.

Он знал, что это из-за Егорки. Но почему это так — не знал. И не скоро узнает.





Ах, это как раз тот самый момент, ради которого и про-
топана «пешки» вся жаркая и пыльная дорога на Ел-
шанку. Выхожу — и прямо на макушку села, которая,
собственно, над селом — здесь когда-то стояла неизвестно ка-
кого века деревянная церковь, — поднимаюсь я на эту макушку,
и с каждым шагом растет передо мной иззелена-синяя Яман-
тау с шестью своими вершинами, лохматыми, как верблюжьим гор-
бы. И вот вся она передо мной лежит, и синеют по сторонам шиха-
ны, дальние совсем... Высоки они после степи, Ямантау высока,
но еще выше — небо, и все оно в живых росчерках ласточек.

И так я вздыхаю, когда вижу это, словно обнимаю вздохом
и в себя беру и волнистую лесную ширь, и дымы бань, и ласточек
в небе. И такой обнимающий вздох я не от одного себя слышал
на этом самом месте... Страна души!

В домике у себя, разувшись, я нетерпеливо жду чайник. Но
вот он кипит, вот заваривается, а чай пью, обжигаясь от нетер-
пения: так хочется в лес!

Появился на стук открываемых ставен подворушник Дру-
жок. Он виляет и хвостом и задом, вьюном вьется, тычется в
колени, дурашка! Живет этот пес у семи хозяев сразу, но ребра-то
видны, как у всякого подворушника. Зимой он живет тяжело и за
лето не успевает отъесться. Но ни к одному хозяину не пристал
толком, ни одному то есть не позволил одеть на себя ошейник
с цепью. Он брошен прежним хозяином давно и давно раскусил
жутко трудную прелесть свободы.

Наконец мы шагаем, бежим в лес. А между тем в природе
происходит нечто такое... Я от нетерпения многого не замечаю.
Чую только тяжкую духоту, как в остывающей бане (даже ве-
ником березовым пахнет). Я весело помахиваю корзиной, в кото-
рой нож для грибов и на всякий случай штормовка. А Дружок
плетется вдруг что-то нерадостно, не так, как я. У меня ума не
хватает выйти на взгорок да оглянуться назад, на юго-западный
угол. А Дружку-то не надо оглядываться, он шкурой все знает...

И вот что происходит. Есть у нас такой мостик на выходе
в лес. Через Ташлинку. Собственно, две доски, переброшенные

через порядочный ручей, который и есть Ташлинка. И — перехожу я этот мостик, а Дружок вдруг мнетя, ну и всем телом говорит: мол, извини, — и решительно остается на том берегу, и ходу назад, в село. К одному из семи хозяев. С чего бы это он? В лес он ходить любит. И, не вру ни сколько, именно со мной любит в лес ходить... Из-за нетерпения я только рукой ему махнул: а! ладно, мол. Иди себе куда хочешь! А зря...

Зашагал дальше один. Там, на алмалинской дороге, есть осинник. Наверное, его скоро снимет лесхоз, — жаль. В нем такие подосиновики бывают, такие... Но не стану описывать — это произведение искусства, а не грибы.

Я дошел до осинника, нырнул в него, и тут — как шторы упали — так стало сумеречно. Но сразу же попались два пестрых моховика, и я стал остальных разыскивать. Увлёкся, а темно, ищется плохо, и тревожно как-то — ни одна птица не пикнет.

Вдруг так рванул ветер, я аж выпрямился! А он как чесанет мои осины вправо да влево, будто гребенкой, будто траву мотает их волнами, — стон идет!

Что такое! Выскочил на дорогу, а над дорогой, над лесом, черная свинья ползет с набрякшими рваными титьками, чуть не по верхушкам леса тащится. И холодом из-под нее сквозит.

Нахлобучиваю скорее штормовку — и домой! Только чувствую — не успеваю, быть мне нынче купаным, крещеным.

Из тучи хлещут уже редкие, сильные прутья. Я опять нырнул в лес и лесом — к селу. А ливень меня уже достает. И хлещет меня уже не струями, а поливает ведрами. Лес этот — та же осина, только молодая. Листва у нее кисейная — капли не держит.

И темно: во все небо свинья эта распласталась. Ворочается, всхрюкивает громами. И — свет. Свет из этой черной тучи посыпался. Сыплется, щелкает по капюшону, вот и чертенята белые по ногам заплясали: град! С горошину град.

Прижался к дереву, жду. Мокрый уже, до нитки. Спешить теперь некуда. Но вижу, а град-то, мать честная, растет! Вот он уже с орех стал. Вот и посыпался гуще — теперь уж точно с глаз! И похожа градина на глаз: в сердцевине — зрачок мутный, а по краям прозрачная радужка. Точно глаз, только рыбий. И щелкает град уже страшно. Как пастуший кнут с гаечкой на конце. Ко мне два теленка прибились, ошалелые, не мычат. Им страшнее: кто их лупит? за что? А за дорогой, на выруб-

ках, слышно, мечется верховой пастух. И орет между громами истошно. То ли от страха орет, то ли от удали на все это небесное безобразие. На коров-то бесполезно орать, их не видать, и глаз, чтобы оглядеться, не поднимешь: вышибет глаза!

Стою с телятами под осиной, с интересом думаю: мол, вырастет он с куриное яйцо или нет? Или вырастет и побьет нас тут всех — меня, телят, пастуха, который орет... Но стал будто стихать. До куриного яйца, слава тебе, не вырос!

И поразительная возникла картина, я даже мерзнуть забыл: за пять минут всю июльскую травушку усыпал и под собой скрыл белый, сверкающий гравий. Тут же он начал таять от горячей земли, и брел я с телятами (они за мной к дому увязались) по грудь как бы в молоке. Без живота брел, без ног. Слышу, только шуршат мои ноги по ледяному гравию, мерзнут и мокнут.

И как вы думаете, в каком я иду состоянии?! Да в замечательном! Прямо бубенчики во мне звенят: мол, эх, какое было явление природы! Мол, Владимир Иванович, небывалый ты град пережил! Но вспомнил про пастуха, про мужиков на сенокосе в поле и поостыл: «Дурак! — сам себе говорю. — Чему радуешься? Вон он как черемуху отделал — вся ягода на земле. Вон, вон — в огородах-то что творится! Огурцы, помидоры — все вдрызг разбито, листва — в решето. Будто пулеметами по ним прошлись. А с хлебом — что? Это что же сейчас нормальный крестьянин чувствует? Волосы небось рвет на себе».

И встречается мне, в селе уже, нормальный крестьянин Федор Трофимович.

— Чо,— говорит,— попало тебе маленько, Владим Иваныч? Набил он тебе шишек?

— Да мне-то что, вот вам он беды наделал.

— Д-да, едри его!.. Обмолотил нам валки. Сено опять же убирать не дает... Что ж, поле-другое спи-ишут. Он токо нашу бригаду и накрыл. Огороды, конечно, все-ем помял. Ла-адно, переживем. Я, Владим Иваныч, несколько градин замерил кронциркулем: тридцать шесть миллиметров средний диаметр. Ты возьми для заметки-то. Старухи наши такого града не помнят!

Вот и пишу я эту заметку: двадцать пятого июля 1986 года прошел над селом Ташла небывалый в нынешнем столетии град, но хорошенько напугал он только меня, пса-подворушника Дружка да телят в лесу. И это печально...



ЗА ГРИБНЫМ ЦАРЕМ

(Заметки новичка о грибах)

I

Когда я с приятелем впервые поехал в Елшанку за грибами, то был совсем новичком, то есть в глаза их не видел. Ехали мы автобусом, я читал книгу про чью-то жизнь, а приятель ничего не читал.

— Что ж ты,— спрашиваю,— не взял ничего почитать? Дорога длинная, до самой Елшанки все степь кругом.

— Мы будем читать книгу природы,— со значением улыбнулся он.

Я не возражал, но мы не знали, пожалуй, и букв, которыми написана эта книга, и, как все горожане, собравшиеся читать ее с бухты-барахты, бродили просто по лесу и грибов, конечно, не нашли.

Приятель мой грибником не стал. Он и сейчас рассматривает в книге природы картинки, воображая, что читает ее. Осуждать за это не приходится: горожане знакомятся с природой без отрыва от города, получается что-то вроде заочного образования. Вот и о себе — ну что похвального сказать? Ну, прожил, пережил даже пять грибных сезонов и насмерть увлекся грибами. А минувший был исключительно счастливым. Грибы росли — шагу нельзя было ступить, чтобы не нагнуться! И я с некоторой гордостью сознаю, что в это лето брал грибы какие хотел. На выбор. А выбор у меня был — ого! Не как в магазине или даже на базаре.

Вот иду утром в лиственницы — они у нас искусственными посадками растут,— иду и представляю, как мерцают в просеянном сквозь тонкую хвою свете малахитовые лапки чистотела, тонкие, словно зеленые искры, листья звездчатки на золотис-

той, как речной песок, подстилке из опавших игл. На ней не сразу увидишь точно повторяющие ее цвет шляпки маслят, но блеском или выбравшейся наверх улиткой они себя выдадут.

Заметки мои — не научные. В большей степени они пишутся из желания найти единомышленника. Ну действительно, что это за бесцельное хождение по лесу, или, как иногда выражаются, по природе. Вот я стихи пишу, и мне кажется, что, слоняясь по лесам и полям без какой-нибудь охотничьей задачи, путных стихов не сочинишь. Получится что-нибудь такое: «Упаду в разнотравье лицом...» И как раз носом в коровью лепешку.

Да. Ну, мне возразят: «А красота? Зачем же обязательно что-то искать, собирать?»

Конечно, и красота. И между прочим, хорошие грибы в самых красивых местах и растут. Советую эту случайную фразу взять в качестве первой подсказки. Ищите грибы в светлых березняках, в наполненных плотным, словно колодезная вода, воздухом осинниках, в чащах сосен и лиственниц, торжественных, как старые храмы,— точно найдете.

Это хоть и весело, но не всегда легко. Вымокнешь и в росе, и под дождем, и комарье накормишь, и крапивой ожжешься. В чапыжник, например, лезть ни к чему — порядочные грибы там не растут. Но заберешься иногда в азарте в незнакомую чащу и, кроме как через чапыжник, к дороге не прорвешься.

Нет, я не отговариваю. Ведь что такое — найти первый в лето подосиновик! Старый осинник — он только внизу темен. А гляньте вверх — взлетают в небо голубые с прозеленью стволы, и там, готовая вмиг улететь, вьется и трепещет легкая кисейная листва. Внизу сумеречно, а над вами — радостный и бодрый свет. И грибным настоем пахнет, и трава незнакомая, негустая. Так узнаешь редкий вороний глаз, синеватый копытник, чуть тренькает на тонкой шейке колокольчик... Смотришь теперь в оба и даже дыхание сдерживаешь для внимательности. И вот он, ну в двух же шагах! Будто не было и вдруг вырос. Ах, красавец — на гордой, прямой ножке и шляпка с кулак. А то еще ножка по-лебединому изогнута, и гриб от этого как бы улыбается, как бы манит: «А вот он я!»

И бывает, после этого первого как отрежет — ни одного больше, но радость как подкатила к горлу, так и не проходит.

Гриб изменяется во времени и в пространстве. Во времени он растет (у молоденького шампиньона шляпка пипочкой, а у зрелого зонтиком). А в пространстве — в разных лесах, на разных почвах — он немного да разный. У нас в темном лесу — подосиновик ярко-рыжий, красный почти, а в светлом — румяно-желтоватый. К тому же невозможна, наверное, таблица, исчерпывающая все грибные чудачества. В каждой местности они свои.

Очень нужен новичку друг-грибник. А если вы в своем желании взяться за грибное дело один на всем белом свете — сходите прежде всего на базар. Там вы в натуре увидите лучшие грибы своих мест. Там же можно уточнить и куда ехать. Коли есть грибы на базаре, то есть они и там, откуда приехали.

Но бесполезно соваться в грибной ряд с бухты-барахты. Базарная грибная разведка требует своей тактики. Наш главный базар, как и во многих других городах, называется зеленым, хотя он цветастее и пестрее иного восточного ковра. Зеленого, конечно, много, но вот алые розетки из пучков редиса, оранжевые — из моркови, искусные пирамиды из яблок, персиков и груш, то янтарных, то нежно-розовых, мерцают прохладнотяжелые грозди винограда... А люди! И свои, и гости с южных границ огромной нашей Родины, и соседи из среднеазиатских республик. Старики в своих национальных и обязательно крайне заношенных одеждах, молодые в заштампованных джинсовых, и в них не потерявшие национального колорита благодаря гордым взорам и смелому гортанному говору: «Падхады, дарагой, пять рублей килограмм, толко ради твоей дэвушки...»

Цветастое, веселое место в разгар лета! Пришли мы туда однажды с другом Сергеем, человеком по-джентльменски сдержанным, но страстным грибником в душе. Остановились, конечно, в грибном ряду. Здесь продавцы все свои, местные.

— Грибы есть,— приподняв бровь, отметил Сергей.

Ну а я решил тут же и уточнить откуда. Подошел к доброй на вид бабушке, спрашиваю: откуда, мол, такие прелестные подберезовики, где собирали?

— Чать, не украла,— нервно перекладывая грибы, зачастила она.— А место дальнее, где Макар телят не пасет...

Сергей несколько свысока стыдит:

— Ну разве так спрашивают?

Немного погодя, чтобы старушка забылась, подходит к ней сам и без особого интереса тычет в кучку грибов:

— Почем, бабушка, ваши боровики? Это шампиньоны такие? Но они ведь только на засол. Наоборот, жарить? Ну, взвесьте полкило, да и вот рыжиков, пожалуй. Подосиновики? И тоже только жарить? Ну, взвесьте... И откуда, интересно, такая красота?

Старушка взвешивает, посмеивается про себя: вот, мол, лопухи-то городские! А самую уж и распирает поделиться, откуда такая красота и прелесть. Тем более что покупатель — не конкурент. И, заворачивая грибы, она сама поясняет:

— А вот, сынок, по илекскому тракту, сразу за Кардаилово, там лесочки есть...

Конечно, зачастую торгующие люди — люди немного жадноватые, такое у них занятие. Но торгующие грибами по сравнению с горными орлами над казбеками из ранних помидор и персиков или там с толкателями джинсов — намного добродушнее. Добродушие у них не глубоко упрятано. Будете вы с ними покупателем без претензий, и они все расскажут: из какой деревни, далеко ли там грибные березняки и даже у кого в той деревне остановиться можно. Но мой совет или даже призыв такой: ехать нужно туда, где есть у вас какая-то любовь. Крохи детства или юности или запавшие мимоездом в сердце холмы да колки да речка-малышка, для которой не жаль вам будет потратить день и расчистить для нее родничок с живой водой.

III

В Елшанку я приехал с другом Сергеем. Для жилья и для грибной нашей базы мы нашли нежилой, но и не дырявый еще домик в низинке, возле самой речки — тоже, конечно, Елшанки. Хозяева домика — чета стариков — даже обрадовались, что мы попросились в нем пожить. Когда-то здесь была отдельная от Елшанки деревенька или даже хутор дворов в пятнадцать, а сейчас почти все переселились отсюда в саму Елшанку, наверх. В низинке, говорят, сердечникам тяжело бывает, а какой пожилой человек не сердечник.

Загадочно и грустно смотрятся в зарослях черемухи, сирени, одичавших яблонь и почти на глазах растущей ольхи брошенные усадьбы. Места здесь лесные, потому-то не растащили их на дрова, а сберегли для чего-то. Вот и старикам нашим грустно смотреть на остывший свой домик, на порушенную ограду и просевшую, как хребет старой лошади, крышу сарая. Ведь это — жилье их первой молодости. Думали, не тесно будет, но дети выросли, а жить стали полегче, вот и перебрались наверх в новый пятистенки, на сегодня слишком уж просторный, потому что дети все разлетелись по разным заманчивым городам.

Домик мы отмыли с порошком, подмазали печку и бросили на пол немного мяты и полыни. Сергей нашел на чердаке старинную, темного стекла банку и поставил в нее цветы. К вечеру пришла хозяйка, присела на лавку, огляделась.

— Как вы его умыли. Чи-исто. А нежилым все же пахнет, и травка не помогает.

Она загрустила и примолкла, но мы пристали к ней со своими грибами: есть ли, мол, грибы?

— Ну, ребята, да нас ли про них спрашивать? Мы ведь когда в лесу бываем, ну когда сено косим, ну ягоде денек подарить — ягоду-то грех упустить. А грибы — я и не знаю их. А мой и вовсе боится. Да и когда их узнать? Мы ведь в колхозе всю жизнь. Мой говорит — без перерыву. Это, значит, он войну за перерыв не считает, там, значит, все как в колхозе было: айда! давай! не жалея ни горба ни жизни! Да-а... Весна — сев, лето — сенокос, а там и уборочная. Да огород, да скотина, да дров на зиму запасти. Какие грибы!.. — Она осторожно махнула рукой. — У крестьян вы про грибы не спрашивайте, иные обижаются. Разве каждому наскажешься, что вы, мол, в городе наработались, наскучались по воле и с полным правом настоящим воздухом подышать приехали... Тут им не до грибов. Я там в сенцах ведро картошки поставила да яиц десяток. Ешьте, а то грибы-то, они, чать, не по-вашему растут, не как вам надо, кто их знает?

Хозяйка ушла, а мы все переваривали это важное для новичков правило — не спрашивать у сельского человека про грибы. Им действительно часто не до них, и в наших местах редкий сельчанин хорошо их знает. Собирает он их в особо урожайные годы и чаще осенью, когда поздний опенок, проклюнувшись на

вырубках, захватывает вдруг и само село и лезет, как говорят, где ни попадя.

За грибами мы отправились рано, опередив даже деревенское стадо. В том, что чего-то наберем, были уверены, еще не выезжая из города. А уверенность наша держалась на такой чепухе, как радиосообщение о том, что по области местами выпали осадки. Мы не торопясь миновали три шихана¹ — Первый, Лысый и Красный. Было жарко и душно в лесу, ноги в потесневшей обуви горели от бесконечных подъемов и спусков, — и никаких грибов. Мы до зеленых молний в глазах искали их и совершенно не замечали ни подвявшей травы на полянах, ни сухой, как гравий на дороге, земли под ногами. Только когда нашли высохшие на корню неизвестные грибочки, поняли, что, кроме них, нам ничего не найти. Мы почему-то решили, что они — высохшие летние опята, собрали их и спустились с последнего шихана к Елшанке.

Вот наслаждение — опустить в трепещущую ледяную воду задохнувшиеся ноги, смыть с лица паутину и пот и всласть, по-звериному, напиться.

Вечером мы размочили грибы и решили потушить с ними картошку. Очень мы радовались, что из кастрюли идет вполне грибной дух, но когда картошка была уже готова, мы распробовали, что ножки у грибов горчат совершенно как полынь, ну а шляпки вроде бы съедобны. В течение получаса мы терпеливо отрывали горькие ножки от шляпок, решив, что с опятами такое бывает, а затем, храбрясь и неуверенно посмеиваясь, съели свое первое грибное кушанье.

Мы не отравились. Видно, не судьба была. Но на нас напала неодолимая сонливость. Мы проснулись далеко за полдень и с некоторым звоном в голове. Умылись водой из родника и, слава богу, почувствовали жажду и голод. И, поев картошки с яйцами, искренне пообещали друг другу никогда не есть черт знает какие высохшие на корню грибы только потому, что они померещились нам опятами. Живой-то гриб определишь не всегда, а высохший точно обманет.

¹ В Тюльганском районе Оренбургской области шиханами называют несколько покрытых лесом холмов.

Леса вокруг Елшанки богатые. Это леса хребта Накас — невысокого, растопыренного, как еловая лапа, отрога Уральских гор. Березы — плакучие и кудрявые, бородавчатые и гладкоствольные, — дуб, осина, ясенелистый клен, липа, широколистный вяз, ольха, или, по-старому, елша, особенно красивая здесь стройностью и мощностью, какой не бывает у нее в лесах костромских или подмосковных. Черемуха и рябина, калина и малина, костяника и ежевика, а сама ягода, а трава и цветы — устанешь называть!

И поят, оживляют все это родники, ручейки, речки. Поговаривают, что по ту сторону одной из вершин хребта, горы Ямантау, прячется где-то чистое, как слеза, озеро. Такая постоянно греющая воображение и кровь тайна. Никто из нынешних елшанских к нему не ходил. В таких местах грибы чаще всего есть. С небольшими перерывами, но есть.

Уже в конце апреля, как только сойдет снег — с полей полностью, а в лесу с полян и светлых прогалов, — появляются здесь сморчки. Я их, честно говоря, не собирал, но мой друг Сережа собирал точно. И не в хвойных лесах, как пишут во многих пособиях по грибам, а в молодом осиннике на склоне шихана. Вкусные — ум отъешь! И Сергею надо верить. Не то чтобы он никогда не врет, но коли уж решит соврать, то расскажет о грибочке, который укусил его за палец и при этом облаял.

После сморчков — перерыв до настоящего июньского тепла, и даже в сушь в это время есть, оказывается, грибы. Довольно-таки хитрые, совершенно неизвестные на базаре. Они, как оказалось, были, а мы-то занимались лжеопятами.

Кстати, хозяйка нас за них поругала:

— Вы за ими ровно как за девками бегаєте, ровно как из-за девок травитесь. Да-а... А мы с моим в молодости одни грибочки любили — вязовики. Как раз они в эту пору бывали, перед сенокосом. А вот какие они? Эх, старая память — дырявый плат, цельного узора нету. Молодость-то войной, как поездом, переехало. Мой на войну пошел — и я в работе вся. Вернулся с фронта — и счастье какое было: трудовую затируху вдвоем-то веселее хлебать. Не до вязовиков было. И вот какие они? Беле-

сые — да. И растут кучно, букетиками... Нет. Забыла. Навру еще, а вы чего почуднее насобираете...

Но Сергей отыскал-таки в нашей низинке грибника. Это был вытянутый, как хлыст, однорукый старик по прозвищу Майор. Майором этого добрейшего человека прозвали за странную для села командирскую интонацию в голосе. Спрашивает закурить или «можно войти», а все будто командует.

Сельские грибники, они как бы двух типов бывают. Первый — самородки. Эти знают три — пять видов, с десятков прибыточных мест и больше ничего знать не хотят. Любой другой гриб — будь он описан и съеден при нем хоть всей Академией наук — ядовитый. Любое не его место — поганое.

А второй тип — это грибники просвещенные. Они читают о грибах все, вплоть до энциклопедий. Каждую находку они стараются определить и найти повод к тому, чтобы опробовать ее.

Первый тип, как правило, женщины — домохозяйки; второй — чаще старики, сельские интеллигенты, каким-то образом имеющие свободное время. И тех и других даже в большом селе немного — два-три человека.

Дядя Ваня — Майор время имел, потому что был инвалидом. Но он был как раз самородком. А к просвещенным грибникам в Елшанке можно было отнести только большую Эльзу. То есть здесь все вышло не по правилам.

Дядя Ваня нам обрадовался. Как верно заметил Гоголь, для сельчанина разговор по какому угодно поводу заменяет газету. И по сей день, когда газет в деревне хватает, беседа для него предпочтительнее. Душевное дело!

Дядя Ваня, например, когда нет никаких собеседников, разговаривает со своей живностью: с двумя, словно обутыми в чesанки, козлятами, щенком по имени Белек и с расфуфыренным, как бразильский полковник, индюком. И вся эта живность относится к его речам с пониманием, несмотря на то что и увещевает, и воспитывает, и рассказывает новости он неласковым, командирским тоном.

Пока мы беседовали, возникла такая картина: Белек укрылся у него под коленками, козлята то бодали его в бок, требуя почесать рожки, то хамовато карабкались на колени, пробуя стащить с головы невыразимо заношенную кепку. Тут же был и



индюк. Он торчал по стойке «смирно» сзади и сверлил преданным взглядом спину хозяина.

Дядя Ваня рассказал нам все, что знал. Из-за чудной своей особенности вроде бы зачитал приказ:

— Тут, в Елшанке (и во всем мире, надо полагать), съедобные грибы следующие. Шампиены — я их шпиенами называю — эти на выпасах растут. Подберезовики, подосиновики и вязовики. Иных не наблюдается.

— Вот вязовики, где их искать-то?

— По горам шастать нечего. Сухо там. Где посуше ищите, по речке. Где вяз пал, там ищите.

Описывать, какие они, дядя Ваня не стал — не умел.

— Других не найдете, сейчас только им росы и хватает, — отрезал он.

Речка Елшанка — речка-забава. Не везде ее перепрыгнешь, но и не переплывешь — плыть негде. Однако пойма у нее темная и широкая. Густо растет здесь черемуха и высоко поднимает параллельные, как рей, ветви ольха¹. Чем дальше уходим от села — ольха почему-то реже. Вместо нее вязы пошли. А трава сытая, высокая. Бредешь, но ног не видишь — страшно: гадюки тут наверняка есть! Дай-то бог, если, как в книжках пишут, они от нас поудирать должны. Потом-то мы догадались коровьими тропами идти, ну а как с тропы павшее дерево увидим — к нему уж вброд по траве.

А тропой хорошо идти. Правда, в сырых местах кочковато, но то и дело выводит она на такие ласковые поляны, словно тут тебя сто лет ждали. И все-то здесь: и тенек, и мурава, и бормотунья Елшанка — все для тебя.

В третий раз подвела нас тропа к речке. Наш берег — пологий, мерцает в редких пятнах света нетронутый песок махонького, на двоих тесного пляжа, а тот берег — отвесный красный обрыв. И что это вдруг со зрением: Елшанка — не Елшанка, а могучая, грозная река и обрыв-то какой высоченный, прямо каньон. Ворочает река громадные валуны и дышит прямо доисторической мощью... Но вот правее улеглось в воду черное вязо-

¹ В отличие от северных областей, ольха у нас — высокое, красивое дерево.

вое бревно. И по бревну тоже — веселые пятна света. Да нет, не света, уши какие-то растут. Вот и Сергей подтвердил:

— Глянь, уши какие-то.

А меня уж осенило: не уши это. Это вязовики и есть.

Растут они действительно букетиками, в несколько ярусов. Шляпки жмутся друг к другу, и самые молодые грибочки, нижние, не то что белые, а полупрозрачные, как тонкий фарфор. Только с этого ствола мы нарезали полную авоську (мы тогда считали авоську удобнее корзины, что совершенно неверно).

И повалили к нам вязовики. На стволах, раскоряченных пнях, снаружи и под корой, всегда прикрытые злой июньской крапивой (те, что нашлись на стволе в речке, были приятным исключением). Мало того, Сергей, срезая один уж очень богатый букетик, увидел вдруг необыкновенно толстого червяка с медно-золотистым отливом. Он тихонько позвал меня, и я тоже его увидел. Это был не червяк, это был хвост змеи. Сама она не пожелала, что ли, нас видеть, о чем я Сергею и сказал; и в тот же миг мы обнаружили, что это не так: змея смотрела на нас, просунувшись между верхними корнями. Она смотрела на нас все это время, скучным и злым взглядом вопрошая: какого черта мы копаемся в ее дому, то есть в этих ее влажных, прекрасно гниющих в зарослях крапивы корнях. Это была безобидная медянка, о которой и дядя Ваня говорил снисходительно: «Я их токо вилами отбрасываю, они не кусачие...» Мы как можно аккуратнее срезали грибы и оставили ее, оцепеневшую от скуки, одну.

Теперь, со временем, я думаю: вязовики, конечно, можно набрать с одного только удачного пня, но мук с ними не меньше, чем с любыми другими грибами. Они тоже для терпеливых людей, хотя они — грибы на безгрибье. Когда есть грибы благородные — о них не вспомнишь.

А вкус у них своеобразный. Их отваривают перед тем, как жарить, но это для того, чтобы они помягчали. А на отваре варят лапшу, отменную и очень даже грибную. А один мой приятель сами жареные вязовики перевозносит выше всяких благородных. Они, говорит, напоминают ему что-то такое, что совсем недавно исчезло из наших магазинов, какие-то там субпродукты.

Нашли мы не только вязовики. В четвертой авоське мы принесли на суд дяди Вани похожие на большие белые шары дождевики и еще крупные длинноногие грибы, очень похожие на те, что рисуют в страшных лесных сказках.

Дядя Ваня признал вязовики и приказал выкинуть все остальные. Часть вязовиков мы оставили ему и пошли к хозяйке.

— Они? — спросили мы.

— Они! — сразу узнала она. — Они. Вот теперь вспомнила. Чать, вдоль речки собирали?

— Да, Александра Сергеевна, вдоль речки.

— Вот. Мы с моим тоже там собирали. — Она и пальцами узнавала грибы, и улыбалась им, ровно цветам.

Недавно мы отыскиали в книжке эти вязовики. Это вёшенки. Действительно, растут они как бы на весу, но узнай это правильное по грибной науке название наша хозяйка, то решила бы, что названы они так для нее. Ради их с мужем далекой весны.

V

Вечер в Елшанке — долгое время. И свет убывает, и незаметно с востока просачивается синяя тьма. Воздух становится как бы виден, и видно, какой он прохладный и чистый, так ясно, почти не дрожа, проклевываются в нем первые звезды.

Мурава в нашем двореке тоже синее, а огонь под таганком все больше отсвечивает розовым закатным цветом и начинает слепить. Мы сидим у огня, и Сергей от нечего делать подбирает мячик — дождевик. Подбрасывает высоко, и на миг он пропадает в небе.

А мимо шагает большая Эльза. Двое средних ее детишек (есть у нее еще две пары — младших и старших) стрекочат за ней вприпрыжку: шаг у Эльзы — всем шагам шаг. Возле нас она останавливается и долго смотрит на Сергея. Слышно, как отдуваются после бега за мамкой малыши.

— Вы чего это хлебом играетесь? Думаете, если грибы, так это не хлеб? Хле-еб! Только бог его даром дал.

Она размашисто перешагивает ограду и в два шага встает над немного испуганным Сергеем.

Эльза — женщина крупная (так и хочется сказать: большая), кости и мускулы, и ничего лишнего; она если даст леща, то получится как волглой палкой. К тому же она прирожденная охотница за грибами, и уважение к добыче у нее настоящее. Она склонилась над брошенными в траву забракованными грибами и сердито затараторила:

— Такую прелесть выбросили, да вы что, ненормальные? Это вот — дождевики. Деликатесные, если хотите знать, только ужариваются сильно. Я их даже мариновала, правда, неважно получилось, выкинуть пришлось. А зонты? Да это же самый гриб для жарки и сушки (это она про те, страшноватые). Самый настоящий пестрый зонт, я их на всю зиму сушу.

Эльза переложила оправданные грибы на столик возле таганка и еще с минуту горячо втолковывала нам, как необходимо их съесть.

— Ну, Эльза, раз вы говорите, то мы их сырыми съедим, — заверил ее Сергей.

А она, геройски подбоченясь, заявила:

— Вообще, если хотите знать, есть можно любые грибы. Про бледную поганку или там мухоморы я не говорю, а так — любые. Вот, бывает, наберем с мужем грибов, какие — не знаем, а выбрасывать жалко, тогда вот как делаем: отвариваем, отвариваем, потом жарим, жарим. Часа два только жарим. И едим в два часа ночи, ну конечно, молоко наготове держим...

— А почему в два часа ночи? — спросили мы, подозревая какую-то мистику.

— Ну, яд обычно под утро действует. — Эльза вздохнула. — Это чтобы врачей не беспокоить. Сердитые они спросонья, а под утро — ничего.

Муж ее подтвердил без веселости, что такие ночные опробования она точно устраивала. Он без юмора рассказал, что два раза они с Эльзой попадали в больницу после каких-то даже не очень вкусных грибов.

— Я теперь незнакомые пробовать отказался, — меланхолично говорил он. — А она... Человек — странное существо, а женщина тем более. Вот, говорят, опыт. Ни-че-му он человека не учит, — зафилософствовал он. — Все знают — водку пить плохо, а пьют, в тюрьме плохо, а воруют. А женщину не только опытом, кулаками с пути не свернешь. Тебе ж, говорю, опять желудок

промывать будут! А это, говорит, полезное облегчение. Сейчас я ее хоть убедил, что при опытах наблюдатель положен быть, а у нас — теща старая да дети, только мне и наблюдать.— И он криво усмехнулся. Видать, и в наблюдателях ему не так-то легко.

Прошлым летом Эльза вновь попала в больницу. Через три дня она уже бегала по березнякам и осинникам. Все тем же лосиным шагом проносилась под вечер мимо нашего таганка, но что-то в ней, видно, надломилось. Наши грибы она больше не разбирала и не призывала есть их все подряд. То ли врачи ей сказали, чтоб в последний раз, то ли муж пригрозил разводом. Второе — скорее всего. Врачам что? Елшанка — село спокойное, а тут такая интересная практика.

Но хорошо, что эта самоотверженность у Эльзы все-таки прошла. Крайность любое хорошее дело портит. Ведь есть, например, такой «паутинный особеннейший». На вид в нем — ничего особенного: так, неряшливый охряный гриб с широкими охряными же пластинами под шляпкой, а попадет случайно на сковороду — беда! Да не к утру, как говорила Эльза, а через пару-тройку недель. И беда смертная: почки отказывают, а медицина бессильна. Так что при всем при том грибы баловства не прощают. Веселое дело, но серьезное...

VI

Кто же из них в полной мере достоин подражания? Дядя Ваня или Эльза? Эльза — молодчина. Она знает кучу съедобных грибов, и, например, о зонтах и дождевиках она нам первая рассказала, чуточку, правда, в пропагандистском запале преувеличив качества дождевиков. Но вот ее рассуждение о том, что вот, мол, у гриба совершенно съедобный запах, приятный цвет и вкус или что можно определить, съедобен гриб или нет, по тому, едят ли его червяки или нет,— это, товарищи, заблуждение. Червячками, например, поедаются и мухоморы, а у бледной поганки вполне приятный запах, и если верить императору Клавдию, покушавшему их перед смертью,— и вкус отличный. Так что надо все же доверять вековому людскому опыту, собранному в хороших определителях грибов, а если таковых под рукой нет — незнакомые грибы временно не брать.

Дядя Ваня как пример тоже не совсем годится. В его сильно ограниченном наборе совсем никакого простора для поиска. Однажды он застал нас за жаркой пестрых зонтов. Что было! Он отнимал у нас огненную сковороду, обзывал охренелыми, и даже командирская интонация у него пропала, когда он упрасивал нас не есть «всякую поганую разность». Решив, что мы окончательно порченые, дядя Ваня махнул рукой и ушел, не стал смотреть.

И несколько дней после этого наблюдал за нами со своего огорода: живы ли? Ну а вывод сделал такой: может, городским они и не вредны? Городские — они ведь чего только не едят. А главное, обиделся. Неделью примерно наблюдал, а не заходил покурить и побалакать.

Но дядя Ваня — душа человек. Он просто подарил нам свои грибные места: мол, грибов на всех хватит. А грибное место для новичка — учебный класс. Растут там не только известные ему «шпиены», но и те же зонты, и белый навозник, и луговой опенок. Да и сами «шпиены» нам с Сережей известны луговые, лесные и отчетливо-клубеньковые. Самый желанный из них — лесной шампиньон. В зрелой поре он крепок и мясист. Строгий купол шляпки слегка буроват и покрыт розовыми чешуйками. Луговые — те, что растут на выпасах, — похожи на него, как бледные тонконогие братья, народившиеся в голодную пору. А вот с отчетливо-клубеньковым необходимо разобраться. Молодой гриб очень похож на бледную поганку. Но во-первых, шляпка: у поганки она колокольчиком и слегка набок, а у шампиньона плотно сидит на ножке и сверху приплюснута — гривенник положить можно. И что важно, у поганки основание ножки завернуто в разорванную ростом вольву, чего у шампиньона нет. Но чтобы обнаружить ее, нужно взять гриб из земли осторожно и целиком, иначе она в земле и останется, она не всегда видна снаружи. Ну и клубеньковый шампиньон поодиночке не растет. Рядом найдутся грибы зрелого возраста с распахнутой, плоской почти шляпкой и типичной нежно-розовой или даже коричневой подкладкой спороносных пластин.

Зонт или белый навозник, однажды увидев, не спутаешь ни с чем. Раскрытый зонт так и назовешь — зонт! А навозник похож на укутанную в белоснежный, длинноворсистый мех девчушку. К нему одно предупреждение: брать его можно только свежим,

не почерневшим по краю. Если у белой шубки гриба появилась черная, пачкающая пальцы бахрома, значит, он начал самораст-
воряться и может испортить всю жареху.

Я потому остановился на этих грибах, что в наших селах, за исключением лугового шампиньона, их не берут. Повторяю, у нас грибы плохо знают, чему любая бабушка из подмосковных, например, лесов удивится. На нашем севере грибы всегда были вроде как овощи — знакомая с детства прибавка к питанию. А жители той же Елшанки — в прошлом степняки. В благодатных этих местах они сравнительно недавно. Нужда все силы отдавать выращиванию хлеба, добыванию корма для скота в не-
ласковой к человеку степи сказывалась и тут как бы уже привычкой равнодушно относиться ко всему остальному. Хотя красота лесистых шиханов сразу запала в глаза степняков. Это ведь они дали такие названия: гора Лучная — на восходе солнца она сияет над селом восточным своим склоном, а вечером горит закатным светом западная сторона. Красный шихан — осенью действительно красный от пылающих листвой кленов и осин.

Но грибы пока собирают немногие. Как-то женщины, встречавшие стадо, удивились моим подосиновикам: «Да это же «коровьи задницы». Мы их сроду не берем».

На Урале, например, эти грибы ласково называют красноголовиками, а тут — ишь какое отмашистое наименование! Да, пожалуй, по цвету и на ощупь шляпка подосиновика напоминает красную коровью шерсть. А «задницы» — это как раз для от-
машки: мол, на кой они нужны!

VII

...Только-только прощелкал кнутом пастух, как нас разбудил председатель Елшанского сельсовета. Сейчас он работает здесь же на хозяйственной должности. Зовут его Николай Иванович.

— Эй, сони городские, вставайте!

Я вышел под зябкое утреннее солнышко и с удовольствием оглядел Николая Ивановича. Зеленоглазый, русоволосый, и улыбка над молодой бородкой такая, что вот в пляс пойдет! Костюм, как говорят сельские, «не маркой», а брюки заправлены в мягкие, на березовых гвоздях сапоги. До председателя



Николай Иванович работал лесничим и знает, что для леса и поля лучшей обуви пока не придумали. Но как и где он сапожника отыскал, вот что интересно.

С любимым собеседником Николай Иванович на «вы» и по имени-отчеству. И вообще, любит говорить вежливо.

— Вы, Владимир Иванович, не согласитесь ли помочь сельскому хозяйству? Очень, как говорится, нужна ваша поддержка.

Ну как откажешь такому председателю?

— А бороду-то сбрей, Николай Иванович,— говорю по дороге к автомобилю.— Хорошая борода, но заставят ведь в райкоме, только нервы потратишь.

Я по опыту знал, что при каждой встрече с высшим руководством Николая Ивановича будут спрашивать прежде всего не о делах, а о бороде: мол, почему завел и когда сбреет. А то и просто прикажут сбрить, объяснив кратко: «Нельзя».

Почему это так повелось — неясно. Бороды в России носили и носят глубоко уважаемые и полезные для общества люди, но вот на районном уровне борода — символ то ли неправильного направления мыслей, то ли непослушания...

...Глаза его холоднеют: упрямство неведенья!

— Меня дело делать поставили, а борода делу не помеха. Правильно я рассуждаю, Владимир Иванович?

Правильно-то правильно, но через месяц я видел его уже без бороды, хотя это пока не существенно.

Помощь нужна была на хлебном поле, куда он нас и доставил на грузовике. Всю страду того лета поливали дожди, и вот неподобренные валки пшеницы начали кое-где прорастать. А проросший хлеб, он ведь только на водку годен. Председатель решил собрать все малолетнее и пенсионное население Елшанки и перевернуть валки к солнцу хотя бы в самых мокрых, низинных местах. Он верно понимал, что голой агитацией пенсионных сельчан не поднять — мало ли у них забот по подворью. А вот если сказать, мол, как не стыдно, даже городские вышли на помощь, а вы, которые цену хлебу знаете... Люди ведь как рассуждают: проворонили в колхозе солнечные денечки, когда можно было пшеницу напрямую брать, пусть вот теперь сами и пурхаются.

Агитация с нашим участием подействовала. Бабки с город-

скими своими внучатами, как горох, высыпали в поле, и до обеда мы ворочали тяжкие от зерна и влаги валки. Как ожила вдруг нива цветами платьев, возгласами! Общая работа весело разбредила всех; нечастая на сегодняшний день картина...

Уж не знаю, насколько мы помогли колхозу, лично мне было интересно, что елшанский председатель сельсовета хоть что-то предпринял для погибающего в валках хлеба, а председатель колхоза не предпринял ничего. Вообще я часто встречал председателей сельсовета, занятых перенаименованием улиц и даже населенных пунктов, многолетней и бесполезной перепиской об устройстве водопровода, уговариванием тех же пенсионеров, чтобы не ходили слишком высоко жаловаться на нехватку дров, и так далее. Этот же находил где-то бульдозер и поднимал улицы до уровня грейдера, убеждал соседей-геологов в качестве шефской помощи прокопать траншеи для водопроводных труб, собрал из частей, выброшенных в разных местах, неплохой тракторишко, и пенсионерам вздохнулось: это же не лопатой огороды пахать. И везде — сам. Я видел его и за рычагами бульдозера, и за починкой трактора... Может, это и устаревший стиль работы для такого ответственного лица, как председатель сельского Совета, но вот в Елшанке людям этот стиль очень нравился.

Однако что ж мы про грибы-то забыли? Надо вернуться.

— А я вам сюрприз приготовил, — сказал Николай Иванович после работы. — Поехали, а то они вас там заждались.

На своем залатанном «газике» он привез нас к восточному краю Ямантау. Неподалеку журчала речка Купля, сестренка Елшанки. Гора сплошь поросла кленовником, а по краю могучими купами росли старые березы. В легких сумерках они казались мудрыми и красивыми в молодости старухами. Под эти березы и направил нас хозяйский жест Николая Ивановича.

Это были грибы! Замечательный желтый приболотник (у нас его называют как на язык попадетсЯ, но чаще — желтой сыроежкой) рос семьями, полусотенными семьями! Возле каждой березы торчало по три, по пять подберезовиков и похожих на них польских грибов, были и еще какие-то.

Вздыхая и сопя, мы косили грибы ножами под кровожадные вскрикивания:

— Вырезай эту семью!

Однако потихоньку азарт угасал. Правда, Николай Иванович еще раз сумел поразить и потрясти нас.

— Владимир Иванович, идемте полюбуемся.

Мы чуть вошли в кленовый лес на подъеме, и я обомлел. Каждый грибник знает, что такое ведьмино кольцо. Это когда грибы вроде как хоровод водят, но это кольцо... По тридцатиметровой окружности в полуметре друг от друга лежали такие полугодовалые поросята. Это было кольцо гигантских дождевиков.

Мы заполнили ими кузов автомобиля и вернулись домой. Два дня дождевики лежали у нас на погребке, изумляя соседей и больше всего пламенную Эльзу.

Богатая была вылазка. Она задала нам работы на три дня: нужно было определить: какие грибы в жарку, какие — в сушку или солку, и домик наш походил на грибоприемный пункт, а мы — на муравьев-заготовителей.

Николаю Ивановичу за ту поездку я благодарен, славное место он отыскал и припас для нас с Сережей. И открытие было — кольцо дождевиков. Я их по незнанию считал редкими, поскольку нашедшего хоть один такой дождевик немедленно фотографировали для областной газеты, а то и центральной, но все-таки от поездок за грибами на грузовике я сейчас отказываюсь. Тем более к найденному кем-то месту. Рыбак, хорошо владеющий удочкой или спиннингом, поймет меня. Очень это похоже на рыбалку с бреднем в зарыбленном пруду...

Но этот случай или пример — все-таки не беда. И человек нас уважил хороший, и добыча была, и если честно, то не без гордости мы показывали Эльзе свое богатство. А уж грибы уплетали во всех видах всю неделю до полного к ним равнодушия. Вот дождевики не съели, невозможное это было дело. Мы дарили их всем желающим. И знаете, несмотря на презрительное отношение елшанских к грибам, несмотря на их подозрительность к ним, — брали! Поражали размеры, а снежная, как бы стерильная белизна мякоти внушала доверие. Брали и благодарили потом. Отличная, говорили, начинка для пирогов, хотя ужариваются сильно. Одного «поросенка» только и хватает на сковороду.

Особое, принципиальное, что ли, отвращение вызывают во мне массовые вылазки по грибы. Никогда я в таких вылазках не участвовал, и не приведи господь, как говорила моя бабаны. Но наблюдать их — наблюдал.

Однажды я вырвался в елшанские леса с демобилизованным из армии братом, он с великой радостью поехал со мной. Он, как мальчишка, радовался, что и в самом селе и, конечно, в лесу ничто не напоминало ему строевой плац и жизнь под команды. Время было самое грибное — август. То есть когда в наличии практически все грибы. Брат сразу увлекся, и мы не спеша, со вкусом выбирали среди россыпи красных, желтых, фиолетовых сыроежек, сероватых и голубых рядовок, среди нахальных зарослей всяких шампиньонов только наилучшие, только благородные грибы.

Все отлично складывалось. Хорошо попадались подберезовики и особенные богатырские моховики, и все какие-то крепенькие, без изъяна. Брат вдруг и запел, и ногой притопнул, и, наконец, склонился над тремя сросшимися подберезовиками. Я тоже присел возле этих трех граций и порассуждал о том, что к осени грибы становятся как бы чуднее и выкидывают разнообразные фокусы.

В августе в лесу значительно тише и светлее. Птицы отпелись, высокие травы начали увядать, и слышно, и видно дальше. Лес еще зеленый, а уже задумался о долгом зимнем сне. Он тихо думает, и до полудня блестят в поредевшей траве как бы его слезы — капли августовской росы. Это время совсем походило бы на осень, если бы не зелень и сильный запах живых растений к полудню, когда солнце прогреет лес до дна.

Но вот нас накрыла звуковая волна. Мы услышали фырчанье мотора, автомобильные гудки, как на свадьбах, и какие-то командные выкрики.

Брат вскочил:

— Эт-то еще что?

Мы вышли на дорогу и увидели невдалеке несколько больших автобусов и роты две грибников. Они нас тоже увидели и сквозь общее «аблабалабала» раздался чей-то тонкий, полный энергии голос:

— Братцы! Нас опередили! Вперед, а то они все грибы заберут!

Послышалось: «Ра-аа!» — и преследователи двинулись на нас цепью.

Брата я успокоил тем, что мы можем от них уйти. Мы помыли ноги в речке и перевалили через шихан — грибы-то были везде. Мы хорошо там побродили, но возвращались старым путем. По местам, где прошли массовые грибники. Ничего такого яркого, что рисуют в «Крокодиле», не было: переломанных дубочков, сожженных муравейников или забитых насмерть зверей не попадалось. Но для заинтересованного взгляда путь их все-таки напоминал разграбленную французами Смоленскую дорогу. Обломанные из-за ягоды кусты черемухи, потоптанная, переломанная ногами и колесами трава, раздавленные или разбитые в прах пинком дождевики, зверски изуродованные мухоморы, кучками брошенные рядовки, сыроежки и поплавки — видно, набрали других под завязку или кто-то сказал, что все они — поганки. Впрочем, я представляю, как все это было. Я отдаю себе отчет в том, что среди приехавших были нормальные, тепло относящиеся к природе люди, может быть, даже и жаждущие вникнуть в ее жизнь, но вот видят они, как некто рядом гребет все под себя, гребет в кучу, в мешок, и возникает сильное чувство соревнования. А мы-то что же? Хуже, что ли? И градом, отданным на разграбление, представился лес, родная природа, родина, родничок. И все гребут что попало... Скажем, невинный красавец мухомор. Он, правда, ядовитый, но ведь он в рот никому не лезет, не спутаешь его ни с чем другим, а между тем нужен кому-то, я не раз видел его кем-то обкусанным... У природы много тайн, но есть одна открытая давно истина — у нее нет ничего лишнего, ненужного. Однако много чего лишнего, ненужного и даже вредного находят у нее равнодушные к ней люди.

И как ни жаль уничтоженных грибов, но печальнее всего были сорванные и брошенные, потому что завяли, нечастые августовские цветы — они напоминали птенцов со свернутыми жестокой рукой шейками... Ну и неизбежные банки, бутылки, скорлупа и бумага всякая на стоянке — это все тоже было, а как же!

Чтение честных книг, разговор с другом, собирание гри-

бов — все это душевные дела, питающие любовь к бытию. А душевное дело — творчество, а творчество не терпит шума и гама, скверной боязни, что тебя кто-то переплюнет, вызывающей жажду грести все под себя...

Особого выбора, с кем идти по грибы, пожалуй, и нет. Иди «один или с хорошим давним другом, который сам не терпит суеты», как сказал поэт.

IX

Первой любовью в большом грибном увлечении у меня были вязовики — вёшенки. О них уже рассказано. Второй — зонты. Мы с Сережей без подсказки нашли однажды несколько штук, а Эльза убедила нас, что они совершенно съедобны.

Позже в книжке финского ученого Маури Корхонена мы вычитали, что пестрый зонт подается в лучших ресторанах Европы как деликатес. Оказывается, аристократ! Но меня этот гриб восхитил не аристократизмом. Прямо от нашего дома начинается дорога в лес. Вернее, не дорога, а широко растоптанная коровья тропа, по которой стадо уходит через выгон на выпас. На выходе с выгона ее сжимают с одной стороны старые черемухи, а с другой — осиново-березовый лесок. Здесь коровы, которые бредут по выгону широким и вольным строем, толпятся и невольно выстраиваются в тесную колонну. Там, где они толпятся, растет высокая, жалящая сквозь штаны и рубаху крапива.

В этом не аристократическом, но хорошо унавоженном местечке мы обнаружили жуткое количество зонтов всех возрастов — от полностью раскрывшихся до только что проклюнувшихся, напоминающих тупорылые пули крупного калибра.

Собирали мы их долго. Нам хорошо помогала Эльза, а они все росли и не убывали. Остановила этот грибной праздник двухнедельная сушь. Но что они делали, пока росли! Семья зонтов, например, вылезла из земли растопыренной пятерней и опрокинула набок валун с лошадиную голову — вот целенаправленное усилие живого, оно обязательно победит неживое, если ему не мешать!

И ежегодно, были бы дожди и тепло, этот унавоженный крапивный пятачок густо обрастает зонтами, прямо как щеки

Ноздрева бакенбардами. Собирая их, мы забывали о крапиве, очень уж радовали их белоснежные, на глазах розовеющие срезы.

У меня дома, в двухлитровой банке, вот уже с год хранятся засушенные зонты. Невзрачные, скукоженные. Но стоит залить их водой, и они распускаются сильным грибным запахом по всей комнате. И сразу вспоминается лето со множеством его подарков.

Х

О минувшем лете, с которого и начались эти записки, стоит рассказать.

По приезде в Елшанку мы отправились к хозяйке за ключами от домика и нашли ее одну, нахохлившуюся, словно озябшую. Она положила «своего» в госпиталь инвалидов Отечественной войны. Лежать ему предстояло долго, да и надежд на то, что старика крепко поставят на ноги, не было.

Нам Александра Сергеевна обрадовалась, как своим. Вспорхнула было с табуретки суетиться и угощать, но охнула, села опять.

— Сейчас, ребята, на стол соберу. Больно резво встала.— И, уже с опаской двигаясь от буфета к столу, продолжала: — Вот... сижу теперь одна, слушаю, как моего нет. Зашебуршит что-то в зале, а я: «Отец, ты опять в шкафчик крадешься?»

Каково ей теперь в совсем уж просторном доме? Все углы свободны и все забиты воспоминаниями, крепко можно задуматься в мышиной этой тишине.

Словно отвечая, Александра Сергеевна говорит:

— Нет, у меня дети хорошие. Одна дочь в Харькове. В Харьков зовет. Больно высоко живут, а во двор выйдешь — и двора нет, сразу улица. И нигде живой земли не видать, все под асфальтом. По земле-то там не походишь. А старшая дочка — в Оренбурге. Квартира большая, хорошая... Продавай, говорит, дом — да ко мне. Ну, у них так же, как в Харькове, только что к родине поближе. Да и мой уже не хозяин придет, да и я... так, видно, и сделаем, отца дочь уговорила уже.

— А с нижним домиком как?

— Ну, это какой сейчас дом. Мал да низок. Вы-то в нем небось все лбы посшибали. Я уж думаю...— она замялась,— может, вы у меня его купите? Вам-то он на лето хорош, а я недорого спрошу.

И правда, деньги Александра Сергеевна попросила смешные. Даже если свести весь дом на дрова, как раз стало бы на эту сумму. А он был живой и хоть немного обжитый нами.

Словом, мы сговорились о покупке. Хозяйка обрадовалась.

— Ровно как дорогую сердцу собаку хорошим людям пристроила,— подвела она итог разговору.

И вот мы у себя внизу на правах хозяев. Вместе с домиком мы приобретали небольшой, крепко заросший бурьяном огород, прокопченную насквозь черную баню, сарай и маленькое живое озерцо — баклажку с двумя валунами на бережку.

Мы облазили сенцы, чердак, сарай и нашли годный, хотя и сильно сточенный топор, молоток-гвоздодер, косу без черена, заржавленный, но острый серп, стамеску, пару напильников, кривые и прямленные гвозди. Все это лежало в большом плоском ящике на чердаке, явно не забытое, а сохраненное как неотъемлемая часть дома для тех, кто будет в нем жить дальше. Оказалось — для нас.

Мы провозились до самых сумерек, и я присел на теплый валун возле баклажки. Мысли все мельтешили вокруг домика: вот, мол, для нас это удача, а для хозяйки — болезненные перемены в жизни. Ведь если у нее все пойдет как задумано, то на верхнем пятистенке появится надпись-клеймо: «Дом продается». И ни она, ни старик ее не увидят больше вольно устроенной между шиханами Елшанки.

Казалось бы, о чем им жалеть? Об одной, что ли, близости к природе? Александра Сергеевна, смеясь, рассказывала как-то о «своем», как собрался он на свадьбу старшей дочери:

— Я слышу, чего это собака зашлась? Никто чужой вроде калиткой не брякнул. А это мой, надушенный, при галстукке, на крыльцо вышел, от дикалона отдышаться. Не узнал Шарик хозяина!

Да и не мудрено было Шарiku облапошиться. Хозяин в своей нескончаемой работе раз и навсегда был одет в нечто серое и несменяемое, как собачья шкура.

Как-то первым еще летом хозяйка набрела на наш огонек. Сельские люди редко заговаривают о таких отвлеченных понятиях, как любовь, свобода, счастье. А она, глядя на огонь, вдруг заговорила:

— Вот счастье, иной раз ведь и думаешь: что оно такое? Мы, когда домик поставили, а печки еще не было, готовили так же вот, на таганке. Я как-то задержалась на верхнем огороде (там у нас картошка была, и до сих пор там), ну, иду сюда, домой, а те-омно уж. Здесь в низинке особо густо темнеет, если сверху глядеть. А мой раньше с работы пришел. И я с пригорка-то вижу его костерок. И то лицо его в свете мелькнет, то руки — это он ужин готовит: картошку варит, чай кипятит. Свет от костра такой милый, заманчивый, и так мне от него хорошо. Вот, думаю, сядем сейчас бок о бок у костерка, все наши новости друг дружке расскажем, и так далеко нас будет видно, может, самому богу... Вокруг полная ночь, а нас костерок обнял, сблизил, и до-олго мы так посидим... Так ведь, милые мои, и было.

Эх, нелегко с такой памяткой в душе покидать родину. Невозможно.

Мои размышления прервались. Прямо от воды я услышал влажный, хрумкающий звук, словно кто-то рвал корни осоки на берегу баклажки, но оказалось, что это теленок выше по склону, далеко над баклажкой, щиплет траву, а звук вместе с закатным светом отражается от воды. Это развлекло меня, и тут же (жизнь-то продолжается) кольнула в сердце не боль, а радость оттого, что завтра день будет, и лес, и разлюбимые мои грибы.

XI

Летнее утро легко поднимает с постели. Встал и видишь, как туман уходит из нашей низинки, освобождая сначала сизую крону дремучего, как нечесаный старик, тополя, потом зубчатую стену ольшаника и, наконец, шатры развеселых черемух. Пора за грибами.

Уже неделю над Елшанкой без помех всходит умытое солнце и работает без помех. По ночам, правда, продолжают случаться дожди; лужи у нас в низинке парят, но не просыхают,

значит, по речке мы не пойдем, там слишком сыро. Надо пройти чуть выше — не низко, не высоко.

Первый на пути — Лысый шихан, на склоне которого и стоит Елшанка, а наш низинный хутор — как раз у его подножия. Так что дорога идет сначала круто вверх, мимо мощного дерева по имени дубодева. Оно и правда напоминает кряжистую женщину, которая уверенно подняла на раскинутых руках тяжелый шар жесткой резной листвы, но под тяжестью по бедра ушла в землю. Дубодева растет уже на пологом подъеме. Тут пасут мелкий скот, и нам тут идти неинтересно. А нужно идти правее, краем леса, между редкими, изуродованными снежными завалами березами. Возле них еще в виду села попадаются грибы. На что нападём, с того и начнем. И вот лежит чуть приподнятый над травой бархатисто-коричневый окатыш. Над травой его приподняла приземистая бочкообразная ножка. То есть это не окатыш, а гриб — синюха. Как хорош! Шляпка — бархатистая, ножка — розовато-пунцовая, а спороносная подкладка (гименофор) — плотная и совершенно пунцовая. Он похож на несъедобный и вроде бы несколько ядовитый сатанинский гриб, но отличается просто: сатанинский гриб на срезе сначала розовеет, а затем чернеет, у синюхи же зефирно-желтая мякоть сразу синеет чернильной синью. Чем гриб моложе, тем изменение цвета ярче, быстрее. Когда моешь гриб перед жаркой, он как бы линяет и красит воду, а на сковороде к нему почему-то возвращается красивый лимонно-желтый цвет.

Я и раньше встречал этот гриб, но редко, потому никак не мог разобраться в его характере. Кстати, местные называют и синюхи, и подосиновики «коровьими задницами», из равнодушия смешивая эти очень непохожие грибы. Но к синюхе это название подошло бы в большей степени — у него с коровами кровная связь.

Поначалу я заметил, что чаще всего парочками, тройками или поодиночке грибы попадают неподалеку от берез. Береза вообще с грибами дружит. Под ее покровом растет всем известный подберезовик, затем сыроежки всех цветов радуги, великолепный желтый приболотник, славный еще тем, что держится до поздней осени, до опят, затем всякие рядовки, поплавки, черные грузди, да и белые иногда, и вот синюха, оказывается, тоже.

Но не так важна ему береза, как прозаическая коровья лепешка на коровьей тропе. Для него эта тропа — тропа жизни. По ней он растет дорожками иногда под кленами и дубами. Но под березами ему все же милее. Отличный, достойный любви гриб.

По характеру он — честный поселянин. Растет неподалеку от села (там, где ходит скотина), торчит чаще всего на виду, по краю дороги или на тропе, и даже в солидном для гриба возрасте бывает чист и не поврежден червячками. Он не обманет. Если гриб синюха чист и свеж на вид, таков он, значит, и внутри. Чего не скажешь, например, о подберезовике. Этот похож на балованного акселерата: чист, юн, вежлив (то есть хорошо, как правило, виден), а срежешь — совершенно червив. Да и случается, что подберезовик торчит один на гектаре березняка, чего почти не бывает с синюхой. Нашли гриб — не уходите. Присмотритесь — и вот лежат на моховых плешинках меж березовых корней бархатистые темно-коричневые гальки, молодые синюшки.

Синюхой я восхитился совсем недавно, а подосиновики стали у меня в любимых уже на второе лето. Это гриб яркий, стройный. Он не вылезет вдруг посреди дороги или на тропе под копытами коров. Он проживает в своем родовом замке — в зрелом, высоком осиннике. И там он не прячется. Издали манит его яркая, лисьего меха шляпка. Вас, как правило, завораживает и тащит к себе крупный и высокий гриб, но, срезая его, вы уже видите, что вокруг их рассыпано штук пять, а то и больше (так бывает, конечно, в хорошем родничковом месте). А вот поодаль еще один, и еще парочка спряталась за осиновый ствол... И разом грибы кончаются, но у вас и так уже полкорзины, и, впрочем, отдохните: поглядите вокруг, посидите на пенечке и не спеша, поглядывая все-таки под ноги, отправляйтесь домой. Даю честное слово, что на обратном пути перед вами начнут выскакивать мальчишки с пальчик в красных, как наперсток сидящих, шляпках. Молодые подосиновички совершенно чистые. Секрет их появления в том, что взгляд быстро настраивается на большие грибы, а маленькие проскакивают, как рыбешки в крупную ячею.

У меня с подосиновиками сразу сложились отличные отношения. Я часто на них набредал, а однажды по подсказке лося.

Рано встал, и когда с дороги туман сдернуло, я уже далеко от села ушел. Поэтому и увидел лось, днем-то его на дороге не встретишь. Хотя бы секунду полюбоваться на этого зверя — удача. Но я все же рад был, что он меня не заметил или не заинтересовался мною. Молодой, с небольшими рогами, он тремя летящими шагами перемахнул дорогу, оставив щемящую оторопь в сердце, словно мимо пролетел не лось, а телесное воплощение, например, свободы. Он вошел в овраг, на который я раньше не обращал внимания, потому что подходы к нему загораживали спутанные густыми хлесткими ветвями вязы. Но за вязами на этот раз я разглядел копьевидные верхушки осин.

Лось пошел в гору, и я некоторое время слышал негромкий отчетливый треск, как бы по лесу пробирался огонь. И только когда треск утих, я отправился следом за ним. Знакомиться с лосем коротко я не хотел, да и никому не советую. Лось все-таки не корова.

Овражный этот осинник стоял в зеленоватых сумерках, но как только глаза привыкли к ним, я увидел первый гриб, и дальше все пошло действительно как по писаному.

Но вот что странно: этот лосиный осинник прошлым летом исправно прорастал грибами только для меня. Я посылал туда приезжавших в гости друзей, и они возвращались пустыми. Шел туда сам — и приносил десятка три подосиновиков. Примерно недели через полторы после хороших ночных дождей повел их туда. Вошли в овраг, я показал границы грибного места — собственно, что показывать: есть осина — ищи! Но они, представьте, прошли мимо всех грибов, и пришлось собирать их самому, пока ребята аукались в скучном мелколесье.

Конечно, это важно, что у меня с подосиновиками особые отношения. Но важно-то это большей частью мне самому. Тут, видно, дело в другом. Когда я зашел сюда впервые, я точно чувствовал, что лось меня на грибы вывел, ну а потом уж я знал, что место это богатое, что дожди шли пробойные, длинные, и тепла в начале августа не занимать.

Ну а друзья мои, как потом признались, думали так: «Как же, приготовили тут нам грибы. Жди!» А грибы и попрятались: обиделись, что ли?

Что еще о них сказать? Теплой осенью они бывают до се-

редины сентября. Мякоть у них плотная, как у белого, и поэтому они, как и белые, стойки к червякам, но все же не так, как синюхи.

ХII

Наш рассказ идет пока что в гору. Начали мы с пустяковых вёшенок, нетрудных в добыче зонтов и добрались до грибов увесистых, корзина которых до ломоты оттягивает руку. Одно слово — до благородных грибов мы добрались. Значит, на очереди белый гриб.

Хозяйка по причине одиночества стала проводывать нас чаще. И за обычной такой беседой спросила:

— А белые вам не попадались? Нет? Эх, вот хоть и не грибница я, а белые едала. Единый только раз в жизни их набрала. Сенокос у нас одно время был возле Богданова ключа. Вот, знаете, любила туда ходить. Собираюсь, например, сено согреть, а сама радуюсь, будто в клуб на концерт собираюсь или, наверное, как вы, городские, в театр. Ох место! Поляна ровная, а по закрайкам — цветов! Ни в каком саду столько нету. Справа ста-арые березы шепчутся чего-то, слева — осиновый лес, тихий, а под уклон поляны два ручейка сбегаются. Вода в них — хрусталь-вода. Песок по бережку мелкий, чистый, а на песке — бабочки. Тыщи! И каких только нет! Подойдешь к воде, а они как взметнутся — ровно буран с радугой. И так хорошо делается, как и в девках не бывает...

Да... Сложила я так последнюю копейку, а солнце еще на полдне стоит, и неохота мне с поляны уходить. Господи, думаю, кто же это ее так убрал и украсил, ведь ни в одном доме так не бывает, хоть бы и у царей каких. Сижу, отдыхаю, а от осинника свежо. И дай, думаю, зайду. Эльза еще говорила, что, мол, грибов страсть как много! Зашла. Боязно мне немного. Мы ведь необразованные, во всякую чепуху верим. Осмотрелась, а они стоят — да гладкие, сытые, как солдаты в отпуску, да много! Ну эти грибы такие, я хоть и не знала их, а сразу поняла: хорошие. Нарвала я их в передник, в подол, больше рвать некуда, а они стоят... И иду назад и оглядываюсь, иду и оглядываюсь: мол, шли бы за мной пешим ходом!

Принесла, Эльзе все же показала. Та говорит: «Белые!» И не

спросила даже, в каком месте. Мы с моим на следующий день с корзинами на сенокос, а их там уж и нет, Эльза все прибрала. Скоростная женщина...

В леса у Богданова ключа мне давно хотелось заглянуть. Но больно хорошо попадались прошлым летом подосиновики, а в соснах маслята, и лезть через шиханы к тем осинникам казалось незачем — мол, сухо там. Но хозяйкин рассказ меня задел, и пошел я на их бывший сенокос.

Волнистые и живые, как водопады, кроны берез, темная и в то же время легкая стена осинника, и то ли щебет, то ли мурчание двух сливающихся ручьев в конце поляны, и бабочки, отдыхающие на влажном песке от жары, — все было так, как рассказывала хозяйка. И осинник был стар и страшноват. Давно не трогал его лесхоз — видно, берег как резерв. Конечно, не ради красоты оставлен он в покое, доберутся и до него. А стоило бы оставить хотя бы часть, прилегающую к поляне. Ведь не рушат же ради кирпича архитектурные шедевры старины. Может, и природе не так-то просто бывает построить такое вот, стоящее театра, а то и храма, место.

В осинник я вошел осторожно, как и положено по грибниковским поверьям, спрятав нож в карман (пока грибы не нашел, нечего и ножом размахивать). Палая осиновая листва еще не сопрела до легкой ажурной сеточки и была такой влажной, что даже чавкала под ногой. А я-то думал, здесь сухо. А все просто: осинник этот на северном склоне, вот и просыхает долго. Грибов еще не было, но я прямо слышал: тут они! Я снова вернулся на край поляны и наткнулся на два молодых подосиновика. И заметил, что эти грибы выросли там, где листва уже не чавкает. Поднялся тогда немного по склону и, оглянувшись, увидел, что бродил до этого в пологой ямине, видно слишком влажной для грибницы. Но грибов все-таки не было, и, опять же по грибниковским правилам, я присел на поваленный ствол и подумал, что, мол, не очень я и гоняюсь за грибами. Что попадается — тому и рад, а сейчас и вовсе их не ищу, сижу, отдыхаю. И то ли воздух осинника, то ли властный покой этого места мягко так меня охватили, и мысли побежали легкие, как лиственный лепет. И вдруг меня аж качнуло — передо мной стоял гриб. Я понял, что давно его вижу, только отчета себе не отдаю, и вот узнал: гриб белый!

Вообще, в поиске грибов такое не редкость. Зашел в место с другой стороны, или даже настроение у тебя сменилось — и видишь их там, где ну только что ничего вроде не было. Я не тотчас вскочил, не кинулся к нему, убедился сначала, что это не морок, не обман, и уж потом подошел. Белый. Очень старый, но белый все-таки гриб. Очевидно, князек этого места. Вылез раньше всех и теперь еле стоит. Князька брать не надо, тронь его — он и развалится. Но, по грибниковским поверьям, надо ему поклониться, вроде как собирался взять, но из уважения раздумал. Ни в коем случае не пинайте его, не брюзжите, что вот, мол, расчервивелся, вас не дождался. Нельзя: удачи не будет. А с белыми это запросто. Очень способный к игре в прятки гриб. Крупный — да. Но он хоть и называется белым, а снаружи у него ничего ярко-белого нет. Ножка толстая, дородная, как бы заштрихована простым карандашом, а шляпка — цвета серо-коричневой замши, чуточку еще запыленной. То есть расцветка такая, что в осиннике лучше не надо. Отведи на секунду глаза — и потерял. Говорят, в хвойных белые ярче окрашены; ну, возможно, а у нас — такие вот.

Грибы после князька стали попадаться дорожками почти точно с севера на юг. И не как хозяйке, а гриб от гриба — в двух, четырех шагах. Иногда по два. Крупный и мальчик с пальчик рядом. На дорожке гриб от гриба не сразу увидишь. То ли он впереди, то ли немного сбоку, то есть уже на параллельной дорожке. Словом, не видать его: нужно и присесть, и глаза протереть, развлечься немного, наблюдая за муравьями, а то притворно пробормотать: мол, мне и этого, пожалуй, хватит. А если прошел несколько шагов вперед или в сторону, то смотри, куда ногу и корзину ставишь. Вполне возможно, что на гриб.

И что приятно: белые не водянисты, они плотные и тяжелые приятной тяжестью настоящей добычи. Мякоть у них — белейшая, и цвета на срезе она не меняет. Ну и запах у них, конечно, свой и из грибных запахов наилучший.

Та корзина белых — первая моя корзина и, не буду врать, пока последняя.

Что касается грибниковских поверий, то ваше дело, соблюдать их или нет. Но если соблюдать, то грибы попадают чаще. Я не мистик, в чем тут дело, не знаю, но чаще. Это многократно проверено. Наверное, все несложно. Ведь если приглядеться, то



это — правила вежливости. Ведь не будете же вы в гостях с порога справляться, чем вас будут угощать, опрокидывать под стол непонравившееся блюдо и вообще хамить. Ну и когда идешь в наше неголодное время в гости, то, наверное, и встреча с самим хозяином важна... Вот и поверья эти, если серьезно, то придуманы они, чтобы не хамить лесу, быть с ним другом и гостем, тогда и подарки будут, и появится, возможно, то, без чего сложно становится жить,— любовь к природе, возможно, появится.

Вечером у нас была царская жареха из одних только белых, да еще хозяйка к ним стакан сметаны дала. А насчет того, что царь-грибы едим, возразила:

— Не-ет, ребята. Царь-гриб, он другой, да и не едят его. Вот я про него сказочку припоминаю. Бабушка моя по отцу рассказывала. Они из грибных мест были, ну и сказочка у нее была.

Жила, значит, в ихней деревне девушка. Ну такая, знаете, никакая: ни тонкая ни худая, ни гладкая ни рябая. Вроде не лодырша, а всякое дело у нее из рук вырывается. Да я таких и в Елшанке хоть две найду. Начнет щи в печи варить — маленько да переварит, рубаху отцу стирать — рукав оторвет. Пришивать сядет — все пальцы поколет. Заплачет — одно хныканье выходит, засмеется над чем — недосмеется. Вот, значит, ребята, какая девушка жила, ровно моль, и не глядеть бы на нее, не то что говорить. Вон у Эльзы старшая дочь — точно такая... Да ведь живая душа...

Всех девушек на вечеринку зовут, а ее обходят, ко всем сватьев засылают, а за ней не идут. Вот мать ей и говорит:

«Дитятко ты мое неудачное, иди, что ль, к старухе-шептунье (счас-то таких нет, перевоспитали их всех), пусть она тебе чего посоветует». (Ну, жалеет ее мать-то, свое дитё с ума не сбросишь.)

Девушка пошла, а та ее прям в лоб и огорошила:

«Тебе, девка, к грибному царю надо». (Вот тут про грибного царя начинается.)

Та:

«Да што ты!»

«Нет, иди, другого пути нету. Выйдешь рано и так иди, чтоб солнце все время за спиной было».

Ну, наладилась она к грибному царю. А идти все лесом, солнце-то еле видать. (Ох, ребята, я бы к этому царю ни за чем не пошла!)

Идет. Тут ей комар под глаз уселся. Да сильный такой комар. Наша умелица размахнулась — да и хлясь себя по глазу, чуть не вышибла. Не рассчитала, значит. А комар снялся, подлетел к уху и поет:

«Вот спасибо, красавица, что только пугнула, я тебе за это добро сделаю...» (Да, красавица, а глаз-то заплыл аж.)

Ну, идет дальше. Глядит — сидит синичка на веточке и так жалостно плачет. Просит:

«Помогай, девушка, чем можешь». (В сказках-то звери и говорят, и плачут.)

А той вроде и жалко, хочет помочь, а какой из нее фелшер-акушер? Ну, взяла птичку, да так неловко, прямо за больную ножку, — вправила! (Ну, случайно, значит, от неловкости.) Птичка в воздухе пляшет, радуется:

«Ох спасибо, красавица! Я тебе за это добро сделаю».

Ну и девушка приободрилась. Мол, ты гляди, и у меня кой-чего получается. Идет дальше. А тут — страсть какая! Сидит медведь и лапами колоду с диким медом рвет.

«Эй, — говорит, — девушка! Помогай-ка, очень уж меду надо».

А той и страшно, тут и я бы неумехой стала.

«Ох, батюшка-медведь, — отвечает, — я ведь девушка такая-сякая, никакая, не умею ничего».

«Давай, — говорит, — помогай, а то рассержусь. Пчел не бойся, пчел я в речке потопил». (Пчел! Она-то его боится.)

Ну, подошла, сунула это руки в щель, чтобы тянуть, а медведь возьми да отпусти, да зажал ей руки-то. Ка-ак она визгнет благим матом, медведь с перепугу ка-ак рванет колоду — и порвал.

«Ну, — говорит, — не умеешь. Только «ух» крикнула — и дело подалось. Спасибо, красавица, я тебе добро сделаю. (Он-то думает, что это она колоду порвала, а это он сам.)

Идет девушка дальше. А лес пошел темный, высокий, солнце за тучку ушло, не видать, куда идти. А она слышит, звенит кто-то. Это ее комар подлетел.

«Ни-че-о, — пищит, — я солнышко спиной чую. Пошли, поведу».

Видно-то комара плохо, хоть он и сильный, а звенит звонко, и идет наша девушка, как за колокольчиком. Довел он ее до страшного бурелома.

«Вот,— говорит,— пришли. За этим буреломом грибной царь и живет».

Ну, девушке нашей хошь вой, хошь на колени падай. Бурелом-то — стена! Только слышит — лес затрещал. Ай, это медведь идет со всем семейством.

«Счас,— говорит,— мы его бригадным подрядом живо растащим».

Растащили, и она, как по коридору, проходит на поляну. А хорошо на поляне — как на нашем сенокосе. Солнышко опять светит, бабочки порхают, ягода всякая спеет. А посредине большой пенек стоит. Ба-альшой, вот как эта русская печка. А на пеньке гриб сидит. Пузатый, сердитый, вроде груздя. Только весь как из золота. Сидит и синенькие глазки из-под шляпы пучит. А в шляпе (ну, как у груздя бывает) чистая водица зеркальцем стоит.

Она встала. Стояла, стояла, отошла немного и говорит: так, мол, и так, ваше государственно величие (кто его знат, как царей-то величают), такая у меня беда.

А он глаза пучит, губами шевелит, и все. Полянка веселая, а ей уж опять страшно. Она опять: так, мол, и так, такая забота, невозможно мне такой-сякой, никакой на свете жить.

А он губами шлеп-шлеп — и все. Совсем девушка растерялась. Домой, что ли, идти? Тут синичка подлетает:

«Чо ж ты стоишь, дуреха! Ты нагнись. Он уж кричит тебе, а ты не слышишь. Голос-то у грибов тихий, кто их когда сверху роста слыхал?»

А грибной царь и правда рассерчал, покраснелся, вот-вот затопает ногами да и прогонит. Нагнулась она поскорее и сразу все и услышала.

«Тебя, дуру, замуж надо!» — Это он ей кричит.

«Да ведь... не берут, не сватают».

«Во-от. Ты возьми меня да неси в деревню. Да так неси, чтоб ни капли вот этой моей воды не пролить. Придешь — уж темно будет. И смотри: над чьей избой месяц стоит, напротив той избы этой водой умойся, а меня через плечо брось. Да гляди, пока нести будешь, не ругнись на меня, я все ж ки царь».

«Какое ругаться»,— девушка думает. А пошла назад, намучилась, бедная! Под ноги коряги попадают, комары да мухи язвят, а царь этот и за пальцы щиплет, и вырывается, то душно ему, то щекотно. То, наоборот, чесаться начнет. Того и гляди, прольет воду (это он ее все испытывает). Прямо вся душа у девушки изорвалась, будто полгода она домой шла. Но — стерпела, не заругалась и воду не пролила. Ну, замуж захочешь — и не такое стерпишь.

Вошла в деревню, а месяц над самым справным двором стоит. Она встала напротив избы, умылась из гриба да и бросила его через плечо. Он и пропал, а ничего не случилось: как была, так вроде и осталась.

А на следующий день из того двора к ним сватья пришла вместе с женихом. Жених сидит красный, на лавке ерзает, себя не поймет. «Да што это,— думает,— ровно меня сюда на веревке притянули».

А девушка царя своего грибного вспомнила да улыбнулась, ну и так у ней это хорошо вышло, жених аж рот разинул. Жена-то, мол, невеста то есть, улыбчивая какая! Одно это в жизни помочь большая! А как стали жить, и дело у ней ладится. Возьмется за что — ну, хлеб, например, печь,— вспомнит, как грибного царя несла, воду пролить боялась, трудно-то как было, печально-то как, а хлеб испечь — только постараться, да и ругнуться случай чего можно, куда легче...

Вот вся сказка,— закончила хозяйка.— Так что грибной царь, он вот какой. А знаете, почему этой девушке удалось все? Она-то все про себя сознавала. Сознательная была, хотела исправиться. А иная нынешняя закончит институт — и нос в небо! Мол, я теперь все превзошла, теперь меня только на божницу сажать, а и картошки в мундирах толком не сготовит. Такой, никакой, грибной царь не помощник. Надо сначала себя оглядеть...

ХІІІ

После этой сказки и пошло: «Иду грибного царя искать». Иду то есть не совсем за грибами, а разведать новые места, ну и так, найти чего почуднее. Из таких вот походов я принес рог лося-трехлетки, приносил также травы: чистотел, душицу,

зверобой, девясил и удивительные по форме и расцветке окатыши из Елшанки и ее ручьев. Ну и грибы, конечно, чем-то удивительные. Например, ежовик коралловидный — действительная редкость.

В темном лесу лежит и преет черное от влаги бревно. А из-под бревна выбивается белоснежная пена. Точно так пена выбивается из-под бревна, упавшего в речку. Но тут-то, на суше, откуда пена? А вблизи точно видно, что это — похожий на коралловый вырост гриб. И еще больше напоминает он сказочные растения, нарисованные морозом на стекле. В разгар лета он влажный и прохладный на ощупь, а в конце сентября в его белоснежной бахrome, наверное, теплее, чем на мокром пеньке или опавшем листе, и поэтому в гриб забиваются все окрестные козявки, желающие подольше пожить. Этот гриб тоже съедобен, во что ни один елшанский житель, исключая Эльзу, не поверит. Но у него какой-то травянистый вкус, и, главное, он занесен в Красную книгу. Словом, гриб целиком для любования и каких-то специальных целей природы. Ну, вот букашки в нем прячутся — тоже цель.

И многие грибники отвернутся, отпрыгнут даже от страшного на вид гриба — печеночника. В самом деле: из трещины в пне вываливается языком кусок сырого мяса. Вроде бы свежего. И на поверхности этого мяса — янтарные капельки сукровицы. Страшно, конечно. Но я как-то забрел в лес, который, видно, сам восстанавливался после рубки — в нем было много пней. А на этих пнях полно печеночников. Взять их на пробу мне помог убедительнейший журнал «Наука и жизнь». Мы с Сережей не без опаски, с прибаутками насчет отравления пожарили их и съели. И свидетельствуем: это гриб стоящий. Когда его режешь ломтиками, то и на срезе он будто слегка оттаявшее свежее мясо. Ужаривается мало, а вкус немного с кислинкой, будто вы его лимоном покропили. Жаль, попадается он не часто. И если в разгар лета — на пеньках, оставшихся в чаще нового леса, то осенью — на пеньках, обогретых солнцем.

А третий поразивший меня гриб я нашел, собирая поздние опята. Это уже после первых заморозков, когда листва с утра еще позванивает, а к обеду опять липнет к сапогам. Я нашел эти грибы утром. Их было штук пять, растущих наклонно верером из одного места. Веретенообразные ножки словно из



пористого пенопласта: когда режешь, даже похрустывают так же. Сверху и снизу ножка закруглена и ничем не связана ни с лохмотьями вольвы у основания, ни со шляпкой — комком темно-оливковой краски, растекшейся и загустевшей. А запах всем, наверное, знакомый. Это запах дешевой косметики с примесью пота. По причине запаха я и не взял их в корзину — отравил бы ими все опята. А к полудню снова подошел к грибам и увидел, для чего запах. Оливковые шляпки жадно пожирали мухи всех сортов и размеров. От каких-то бледненьких, вроде дрозophilл, до сверкающих стальной синью мясных мух. Поучительный гриб для девушек, пристрастных к косметике. Но мне он интересен, как еще одна (из миллиардов) хитроумная выдумка природы. Мухи, пожирая шляпку, добиваются до спор и, наверное, бывают облеплены ими с ног до головы — шляпка-то еще и липкая к тому же, — ну а собирает их, уберегшихся от морозов, сильный, по всей вырубке слышный запах. И какой, скажите, сюрреалист мог бы выдумать такое? Ведь что еще интересно: поры его белоснежной пенопластовой ножки дают геометрически безупречный рисунок, как ажурная вязь Эйфелевой башни, и внутри он полый. Словом, не ножка, а инженерная конструкция.

Я понимаю, что все эти чудеса уже давно открыты микологами, и вряд ли мне или кому-либо из нас повезет открыть какой-нибудь новый сногшибательный гриб. Но ведь так приятно открыть диковинку самому, да и обязательно, что ли, диковинку? Вот луну человек открыл. Глянул на небо — и открыл ее, и описывает, и сравнивает по сей день, кто с червонцем, а кто и с грибом каким...

И немного о попутных грибах. То есть о тех, которые в хорошую грибную пору не замечаются, а вот когда мало подберезовиков, негусто белых и подосиновиков, они очень помогают наполнить корзину.

И прежде всего о грибах, которые так и называются — попутницы. Это мелковатые, красно-коричневого цвета вороночки. Похожи на отощавшие, но густо набравшие кирпичного цвета рыжики (они, впрочем, и родня). Растут в осиновых и других лиственных лесах. И в таких невероятных количествах, что, собирая, поневоле начнешь привередничать и брать, например, только с пятикопеечную монету. Попутницы легко и быстро

солятся простым крестьянским способом. Грибы укладываются в кастрюлю на подкладку из укропа и смородиновых листьев слоями, пересыпаются специями и солью на глаз — и под гнет. Однажды мы съели их через неделю после засола, и они даже не горчили, хотя и млечники.

Как-то вскользь уже заходил разговор о сыроежках. Ну, для многих это гриб пустяковый и по той еще причине, что очень ломок. Ну это, правда, если собираешь его в мешок или авоську. В корзине-то он не покрошится.

А сыроежки в елшанских лесах — всех цветов радуги. Даже весело от них в лесу. Однако самые яркие — красные и розоватые — сыроежки лучше не брать. Среди них есть сыроежка болотная — горькая и жгучая на вкус. А вот ярко-желтые, серозеленые, фиолетовые и лиловые (есть даже голубые) — эти все довольно вкусны. И когда, например, вы три дня подряд объедаетесь подосиновиками, то очень бывает приятно сменить их сыроежками.

А скажем, гриб поплавок (он любит расти, как и многие грибы, у берез) замечательно вкусен. Это тоже хрупкий гриб. Ножка у него легко отваливается от шляпки и сама шляпка ломается вдоль пластинок, но, в отличие от сыроежек, мякоть у него не рыхловато-хрупкая, а приятно-упругая. Поплавок бывает желтый, серый и белый. Как и у сыроежек, окрашен у него только верх шляпки, все остальное — белое. Но сыроежки в молодости коренасты, а поплавок сразу длинен, и у молодого гриба шляпка колпачком. Самый красивый из трех — желтый поплавок. В елшанских лесах он даже желто-оранжевый и как бы покрыт лаком. А вот белый, несмотря на то что тоже симпатичен, очень похож на бледную поганку. Даже вольва у основания ножки есть, и единственное четкое отличие (это у всех поплавков) — риски по краям шляпки, ну вроде оборочки на юбке. И все же начинающим белый поплавок лучше оставить — риск все же велик, а рядом полно серых и желтых поплавков, в которых трудно ошибиться.

У полавка тонкий, ненавязчивый грибной вкус и запах, он довольно стоек к червячкам и еще появляется как предвестник хорошей грибной поры.

Следом за полавками по осинникам и по краям березняков, иногда и под здешним ясенелистым кленом вылезают во мно-

жестве грибы, точно свидетельствующие о том, что все благородные уже на своих местах. Это зеленые моховички. Они, скорее, не зеленые, только называются так. Они серовато-оливковые. Тоже любят расти там, где ходят коровы, но где тень постояннее и гуще, чем в редких, свободно растущих деревьях по краям полян. Часто забираются они в муравейники. Муравьи их почему-то не едят, и торчат они там, чистые, до глубокой старости.

Серовато-оливковая бархатистая шляпка, нежно-желтый, как у масленка, гемиофор, мякоть желтовато-зеленого цвета, а у ножки — с краснотой. Характерная черта: зрелый гриб покрывается розовой сеткой трещин. Вкус у него такой, что, приготовленный, его можно спутать с масленком. Мы их так иногда и называем: осиновые маслята.

XIV

Вот и подкатали мы к осени. Прошлую осень я вспоминаю сразу так: сидим мы с Сережей на козлах во дворе, оба в стеганках и сапогах — самая удобная для наших занятий одежда, — а у ног корзины, с верхом заполненные опятами. Сидим, потому что солнце еще греет, и так хорошо щуриться на это последнее тепло, достающее нас сквозь бледную, чуть золоченную по краям зелень тополя и отраженное от яблонь соседней заброшенной усадьбы. Сережа зачем-то нагибается и вскрикивает. «О-о! А мы куда-то ходили...» — оскорбленно поясняет он восклицание. Прямо под козлами стоят плотно, шляпка к шляпке, — ножа не просунуть — полсотни отличных и одинаковых, как новобранцы, опят.

Это — опяточное нашествие. Оно бывает не каждую осень, но часто. Вот скажите на милость: где растут опята? Даже школьник ответит: на пеньках. А вот и не только! Когда нашествие, то они растут где ни попадя. И в лесу, и на тропях, и на галечном берегу речки, и под старой яблоней в саду, и в куче хвороста или коры. И на пеньках, конечно, тоже. Когда нашествие, они растут везде, где упала щепка или хворостинка, которую уже затянуло землей или не затянуло. Вон обросла отважной семейкой брошенная еще в майскую грязь доска, даже скучно писать. А собирать? Да они из села не дают выйти. В такие

осени надо быть очень ленивым, чтобы не наесться ими до отвала, не засушить, не засолить на зиму.

А выходить из села надо. И пожалуй, лучше рассказать о нынешней осени, когда опять просто есть, но нет этой грибной демонстрации вокруг Елшанки и в ней самой. Такие осени здесь через две на третью.

Звонким октябрьским полднем, когда только-только ледяной росой заблестал иней, Эльза звонким бегом возвращается уже с ближних вырубок и звонко же оповещает: «Грибов совсем нету...»

Но Эльза — добытчица, и ее это «нету» означает, что за полдня никак мешка грибов не наберешь, всего лишь ведерко. Так что в ее «нету» я нисколько не верю.

Хотя да, осень для грибов неудачная. Чтобы опять полезли дружно, нужно чтобы в конце августа и в начале сентября прошли дожди, а потом постояло бы бабье лето. На этот раз получилось так, что вся вторая половина августа и сентябрь до двадцатых чисел прошли под чистыми синими небесами.

Шиханы к этому времени только зацвели. Первыми позолотели нетерпеливые березы, иные молодые осинки вдруг вспыхнули пестро-красным, и тяжелой, багровеющей медью стали дружно наливаться кленовые кроны.

Огромная спящая зверюга — Ямантау, на которой растут все здешние деревья, покрылась невиданным драгоценным мехом. Когда по ней, бессильно цепляясь, скользят последние лучи, какими оттенками янтаря и меда полыхают ее деревья! От нее так и дышит осенним теплом, а над самим солнцем уже развернулись тонкие, посверкивающие острым холодом бритвенных лезвий облака. Сильно манят теперь эти шиханы. Художники говорят, что сочетание голубого и золота — беспроегривно. Например, золото и голубая эмаль. Конечно. Это сочетание — эталон, оно найдено и заложено в нас самой природой.

Золото на голубой эмали — краски ясного осеннего дня. Трудно в такой день сидеть дома, хоть и вовсе не было бы на свете этих грибов.

По выгону, мимо крапивника, я прохожу на рубку. Вот уже на ней в прошлую осень можно было граблями грести опять! Сейчас тут пока пусто. Не вылезли еще. Только вчера иссяк наконец недельный, редко на час обрывавшийся дождь. Он, как

занудливый ревизор, шуршал крышами, злорадно бормоча: «Ничо-о, что-что, а щелочку отыщу!»

Все дни он превратил в сплошной вечер. Только и радости было надеть ломающийся, будто картонный, дождевик, тяжкие, тут же обрастающие грязью сапоги и пройти хотя бы к дубодеве. Серо-серо кругом, но деревья уже всерьез заполыхали, и ничем их не потушить. Чуть просвет — и они горят!

И вот вчера дождь прекратился. Его влага искрится в траве, будто и не был он тоскливым и серым. Так преображается заплаканное лицо от неожиданной радости.

Все же есть и благо в том, что нынче прорастут грибами только самые нетерпеливые и сильные грибницы. Прошлую осень на грибное нашествие люди ответили тоже нашествием. Все вырубки были усыпаны грибниками из райцентра и города, собирали в меру сил и охоты грибы школьники и учащиеся интерната. Дети носились по бороздам только что высаженных сосенок, разбивали в лохмотья старые пни, а воспитателям некогда было за ними следить. Одна девочка в восторге от грибного изобилия прыгала по оладышкам опят, ритмично покрикивая: «Гриб — хрип, гриб — хрип!» И в конце концов вывихнула ножку. Ну нельзя же все-таки так!

А нынче грибы надо искать, и любителей массовых сборов в лесу нет. Искать — это славно. На первой очень старой вырубке я грибов не заметил. Дальше — правый берег Елшанки. Он плавно поднимается вверх, за осинниками и вязами открываются отороченные березами лужки, и на них опять тоже имели обыкновение вырастать семейственными компаниями. И вот наконец с десятков пригоршней потускневших пятаков. Это они. Хорошо, срезанных не видно, значит, Эльза здесь еще не гуляла. Обидно, знаете, бывает добирать грибы после кого-то. Опята хорошо выросли, и поэтому нужно осмотреться, запомнить место, ибо в подобных местах только и стоит их искать. Полянка — сплошь зеленая. Просветы меж кустиками травы заняты мхом, и когда срезаешь опенок, на конце ножки, словно зеленые шерстяные нитки, — обрывки мха. И вот интересно: говорят, грибам нужно тепло, но выросли они на северном склоне, причем гуще всего там, где лужок плотнее прижимается к стене леса. Все это время вместе с дождем дул юго-западный ветер. Возможно, он как-то и грибам мешал. Тепло все-таки было пока везде — и на

северных, и на южных склонах, но южные постоянно оглаживались ветром.

Эти опята на лужку растут прямо из земли. Древесные остатки, в которых живет их грибница,— сразу под мхом. Они очень ровные и торчат тесными букетиками по пять, семь, двенадцать грибков. Это настоящие, или поздние, опята. Шляпка у них цвета хорошо пропеченной хлебной корочки и покрыта легко осыпающимися чешуйками, совсем будто крошками сгоревшей муки. А пластинки под шляпкой — белые и прикрыты белой же вуалью. Ножка на срезе тоже белее снега. Но если грибок староват, изрос и напитан влагой, то темные чешуйки с него уже смыты, вуали под шляпкой нет, а пластины — осветленного цвета шляпки. На срезе такой гриб словно напитанный темной водой снег. Если такой гриб не червив — смело берите его. Он вкусен.

После этого лужка я ушел на вырубki не очень старые, но и не очень молодые, и там тоже стали попадаться опята, и тоже на северных склонах или же с северной, захваченной мхом стороны пня.

Находились и растущие не на пнях, а прямо в пнях. Очень забавные! Стоит вроде бы целый пенек, но на срезе у него дыра, и в дыру видно, тянутся на свет плотные, темные, как спичечные головки, шляпки опят. Такой пенек легко разойдется под руками, но нужно постараться не рушить его совсем — в нем ведь грибница, и сильная. А опята в полости выросли дружно и даже не шляпка к шляпке, а ножка к ножке, как спички в коробке. Да и похожи на увеличенные спички, только что ножки у них не такие прямые; у крайнего опенка, уперевшегося шляпкой в препятствие, она вообще свернулась загогулиной.

Но попадаютс я мне и совершенно поразительные опята. Один автор убедительнейшего журнала «Наука и жизнь» пишет, что осенние опята никогда не растут поодиночке. Вообще надо остерегаться по отношению к грибам категоричных слов. «Чаще всего», «как правило» — вот наиболее подходящие выражения, ибо грибы — очень странные создания. И хотя придерживаются правил, но всегда стремятся их нарушить. Исключений хоть отбавляй. Так что чаще всего опята не растут поодиночке. Но часто именно поодиночке они и растут. Это, наверное, какие-то особенные опята. Меж стеблей засохшего чертополоха вдруг

торчат по одному и редко по два опять гренадерской стати. Это не изросшиеся тонконогие опять-пяточки, это мощные молодые грибы. У них, как у молодых, шляпка колоколом, гименофор прикрыт вуалью, а ножка мощная, как у среднего подосиновика.

Эти крепыши раз в десять — пятнадцать крупнее своих обожаящих компанию собратьев и вовсе не редки, особенно на совсем старых вырубках, где пней уже не видно. Они развалились и рассеялись, а кусочки гнилушек с грибницей затянуло порядочным слоем гумуса. И наверное, чтобы пробить его переплетенную корешками растений толщу и вынести на свет споры, грибница все силы собирает в один гриб-кулак. Что говорить, опять-богатыри — желанная добыча. Они выскакивают на глаза так же неожиданно, как и белые. Когда ищешь их долго, то перед сном мельтешат в сомкнутых глазах их поджаристые шляпки и занесенные на рубку цветастые листья деревьев.

XV

К вечеру стало ясно, что стукнет мороз. Уже в девять в полной тьме пристально, колюче смотрели на землю звезды. И, словно их отражение, сверкали на земле кристаллы инея. Что ж, это грустно. Тепла, значит, больше не будет. Но не будет зато и изнуряюще долгих дождей. А все опять, что успели вылезти, — мои. Есть надежда и в этой слабой на грибы осени набрести все же на грибной родничок. Так называют такое местечко, на котором грибы вылезли кучно и рассеялись на несколько метров вокруг и которое не отпускает грибника часа три подряд.

В эту ночь я лег поздно, но выспался крепко и проснулся, когда солнце уже ломилось в окна. А это значит, что оно уже над Ямантау и что идет по крайней мере одиннадцатый час.

Печь остыла, в сенцах замерзло все: и приготовленный накануне борщ, и молоко, и вода в умывальнике. Холод с непривычки показался прямо-таки зимним. Не удивительно. И собаки в первые морозы трясутся, а потом ухом не ведут и на крещенские.

На всю землю вокруг была наброшена истрепанная, но кипельно-белая сеть инея. Баклажка тоже затянулась невидимым

льдом. Но солнце светило так искренне, так чистосердечно, что медлить даже было невозможно. Да и пока я кипятил чай, затапливал печь, чтобы не в холод возвращаться, иней подрастая, загорланили воспрянувшие петухи и зазвенели синицы, которые только сегодня перебрались на зимние квартиры в село.

К двенадцати стало совершенно весело. Я бросил в испытанную корзину свой постоянный нож, старательно надел сапоги и прочее утепление и заторопился в лес. Недалеко, километрах в четырех по дороге вдоль Ямантау, за лосиным оврагом, есть у меня любимое место. Там сейчас чудным светом горят узорчатые, убранные живой шелковой мишурой лиственницы, мрачной кажется непреклонно зеленая посадка сосны рядом с двумя строго прямоугольными березняками, подпирающими небо золотыми верхушками молодых крон.

Хотелось побыть в этом месте подольше, попрощаться с ним до весны,— мой отпуск кончался. А там, на полянах, довольно пней, куч хвороста, оставшихся после санитарной рубки и чистки,— должны быть и опята.

Я пришел туда быстро — и сразу на мшистый склон возле берез. Там семейками росли десятка три грибов. Они были насквозь заморожены и ломались под нажимом ножа, как стеклянные. Нож у меня для опят удобный. Длинный, с источенным концом, обычный кухонный нож. Он куда лучше специальных грибных ножей, продающихся в магазине. Они часто теряются во время сбора, а этот крупный, его если и оставишь где, то и найти не трудно. К тому же срезать опята, вёшенки, зимний гриб им тоже сподручнее. Все эти грибы часто лепятся на пеньках и коряжинах так, что вылезают на свет одни шляпки, а ножки крепятся далеко, и коротким ножом их не достать.

Ну, с опятами на лужайке можно было обойтись любым ножом. Только тронешь застекленевшую грибную семейку — и она откалывается от грибницы. Остается счистить землю — и клади в корзину.

Здесь я не спешил, хотя грибы попадались редко. Не терпящее суеты место. Оно было именно таким, каким я представил его себе утром, только вот иней я не учел, а он, растаяв на нижних ветвях лиственниц, украсил их ажурное золото сверкающим, бисерным шитьем.

В эту пору в наших хвойных посадках не бывает грибов

(почти не бывает), но в лиственницы меня потянул и этот торжественный блеск, и головокружительный запах хвои, и так отменяющий тишину шорох клестов, терзающих шишки. Как не войти! Подстилка под лиственницами — невиданный, сотканный из той же золотой хвои ковер. Он пружинит под ногами, и при каждом шаге ощущаешь сквозь резиновый сапог запорошенную мягкими иглами упругую шишку. Чисто здесь, как в святом месте. Будь я язычником или верующим вообще — вот здесь, в таком бы месте, я и молился. Да и было в голове что-то похожее на молитву. Благодарность, что ли, за данный человеку дар творить и созидать. Ведь это место с нисходящими к Елшанке лужками, двумя прямоугольниками березняков, посадками сосны и лиственницы, спорящими друг с другом цветом, как свет и тень,—это ведь наполовину рукотворная красота, и вышла она от содружества человека и природы. От нее здесь тоже много: старые и покореженные, но прекрасные золотыми водопадами крон березы, стройные вереницы ольхи с червленой зеленью прихваченной морозом листвы и буйно заросшие кленами, дубками, молодой осиновой порослью скаты шиханов на том берегу. В одном месте они обрываются над самой рекой розовато-красным песчаником. И странно, что человек приложил здесь руки только из соображений пользы. Придет час, и он снова сведет на пеньки все эти живые трепещущие творенья. Не миновать брать у природы. Но ведь больно глазам видеть, как мелеет она, родная, наделившая нас по мере угасающих своих сил жизнелюбием и пониманием красоты. Да что молиться, есть и силы, и понимание, но не тем занят сейчас человек, кажется ему, что не это главное сегодня. Поищи поздней весной годовалые дубки — сростки, перенеси их на светлое место, в родной чаще они все равно погибнут. А как интересно в середине лета прорастает крохотной лиственницей уцелевшая от птичьих пиршеств шишка! Вот и ее надо попробовать посадить. Много ли сделаешь, мало ли, об этом не стоит задумываться.

С небом между тем творилось странное. Подвижные, похожие на хищных рыб облака то вовсе прятали солнце, то открывали его вполсилы, то снова оно завладевало всем. И эта игра отражалась на земле беспокойно-стройным мерцанием чудно окрашенных пространств, кудрявых шиханов, куполов берез, их прозрачных стволов... Музыка, да и только.

Станным покажется, что, наблюдая и переживая эту зримую музыку, я набрел-таки на грибной родничок возле просевшей и почти сравнявшейся с травой кучи березового хвороста — сюда вдруг указал резко прорвавший тучи солнечный луч. И главное, музыка не прекратилась, а переменилась, что ли, и в ней зазвучали легкомысленные детские нотки.

На одном симпатичном опенке я нашел бабочку — павлиноглазку. У нее нервно, возможно от холода, дергались крылья, и она никак не могла их унять. Вряд ли ей суждено было пережить зиму. Она, очевидно, сделала все, что ей было положено в жизни. Я поместил ее в корзину так, чтобы не придавить грибами, и складывал их теперь осторожно. Но она и сама, умница, поднялась по краю корзины несколько вверх и замерла.

С конца поляны, где уходила вверх к Богданову ключу заброшенная дорога, показались красные, как песчаник, коровы. Это стадо возвращалось домой. И тут музыка прекратилась.

XVI

Разумеется, не коровы тому виной. Они-то, бедные, напротив, если заметили, согревают тепловым светом любой прохладный пейзаж. За стадом на мохнатой, издали казавшейся безглазой лошаденке ехал виновник. Представляете, как трудно усадить верхом узко раздвоенную книзу лесину. Но общими стараниями привязали ее к седлу, кое-где подперли, наладили поверх дождевик — и айда, скачи, паси скотину, пастух Масло-врот!

Как только он появился на поляне, тут же пустился вскачь за юной телкой, отклонившейся от общего пути.

— Эггха-а, мать твою, та-ра-ра, на пятнадцать лет сяду, а тебя пр-ришиб-бу!

Он закончил тираду щелчком кнута и тут же начал новую, прокатившуюся по поляне гулко и смачно, подобно смазанным нечистотами голышам. И снова щелчок кнута, от которого вздрагивало все: мохнатая лошадь, коровы, листва на деревьях, бабочка в корзинке и, кажется, само небо.

Нет, уши у меня не девичьи. Я отслужил армию, был одно время черноработчим, журналист — всякое приходилось слышать.

Но и я не понимал, как можно с таким самоотверженным сладострастием поливать и эту вот мать-природу, и всех матерей вообще? Да за что? Да к чему, собственно? Что я, не видел разве в работе чабанов или таких же, как он, пастухов общественно-го стада? Я прекрасно знаю, что в этой нелегкой, не всякому сильной работе настоящие пастухи обходятся набором команд, им зачастую помогают собаки. Но ни одна собака, видно, не согласилась работать с этим пастухом. Что ж, они думающие существа.

Наверное, я, как человек сторонний, не имею всех прав на то, чтобы осуждать Масловрота, но в конце концов это мои записки, и в них я имею право на все. И я лишаю его имени. Тем более что сделал это не я, а сами елшанские. Спроси их, как зовут пастуха, и никто не помнит ни имени, ни фамилии. И не в одном мате дело. Я расскажу историю своего знакомства с Масловротом.

В начале июня я вырвался сюда на выходные и сразу, заглянув только в домик, прошел на это вот место, к двум прямоугольным березнякам, о которых уже говорил. Глянул я на них — и оторопь взяла: нижний был обит по периметру хлыстами, то есть превращен в карду. Ну, карду обычно делают у реки или у пруда на открытом месте, не задевая деревьев. Березы — совсем молодые, а хлысты к ним прибиты в половину их толщины. Под ними — черный прямоугольник перемешанной с навозом земли. Ни травинки, стволы вытерты боками коров до слоя телесного цвета. Карда в живом березняке. Дичь. Сдуру я кинулся на хлысты. Какое! Живые деревья, как в спазмах, сжали пятнадцатисантиметровые гвозди.

Я сразу вернулся в село и пошел в лесхоз, забыв о том, что был выходной и там толкается у пилорамы один только сторож. Поднялся наверх, к хозяйке. Рассказал. Та всплеснула руками.

— Вот! А я думаю, что это корова голодной приходит? Мало того, что рубцы на ней в палец... Ах, подлец! Ведь вот исхлестал он их, они теперь стада и боятся, разбегаются чуть чего, теперь он, значит, загонит их в эту карду, и хоть спи, хоть блох лови. А им, сердечным, ни травки ущипнуть, ни листочка сорвать. Чать, все там объели?

— Все объели,— эхом подтвердил я.— Еще бы не все — сто коров на сто берез.

— У кого еще мужик в доме — ладно, хоть пригрозит, чтоб корову не хлестал, а вдовым старушкам какво? А что сделаешь?

Где-то я слышал это дурацкое «а что сделаешь». Ну нет, за березняк он ответит! Я написал письмо директору лесхоза, не без эмоций изложив дело. Даже приплел сгоряча райком партии и народный контроль, чего, кажется, делать было не надо, ведь директором был мой знакомец, душевный пока еще человек Николай Иванович.

Через неделю мы с ним встретились. Не дожидаясь вопроса о березняке, он сухо выговорил, двигая желваками:

— Факты подтвердились, Владимир Иванович, но все сделано, поедemте посмотрим.

Да, все было сделано. Черный внизу березняк был освобожден. Хлысты сорваны и увезены в лесхоз.

— Я ему, гаду, зарплату не давал, пока он гвоздей из берез не вынул.

— Так он и лесхозовских коров пасет?

— Ну да. Мы ему двести пятьдесят в месяц платим.

— Да за личную голову по шесть рублей, а их сто, да по десятку яиц с головы и по ведру картошки в конце сезона,— прибавил я со слов хозяйки.— Как три больших начальника получает. Есть, кажется, интерес работать на совесть.

— Да ничего больше не могу с ним сделать! — раздраженно ответил Николай Иванович.— Штрафовать? Штрафовал уже. Это ведь у него не первая такая карда. Ну нет другого человека на его место. Все на него жалуются... И потом, сами его просили: мол, свой, елшанский. А я предлагал глухонемого Еськина. Он вон безо всякого мата пасет и кард никаких не строит... Хоть бы мужики отделали его разок по старинке, да всем все как-то до лампочки, даже своя корова. Вот зайдите сегодня вечером, он наверняка у меня будет в конце дня, отдыхает он сегодня, а у него проблема есть.

— Зайду. Интересно взглянуть.

— Милости просим.

Этак галантно попрощавшись, Николай Иванович ушел в цеха. А я с минуту слушал его крепкий распорядительный голос, так не вязавшийся с только что сказанным «ничего не могу сделать».

Я отправился в село, в книжный магазинчик, оставшийся от времен расцвета села Елшанки, когда в ней было четыре тысячи жителей и она спорила с райцентром. Сейчас в ней осталось около пятисот обитаемых дворов, заселенных в основном стариками. У магазина толклись в тяжком, вероятно похмельном, недоумении четверо мужиков. Согласно постановлению, из магазина вывезли всю бормотуху и прочую водку. Их надежды на чудо на глазах увядали под насмешками женщин, и они не уходили, уже просто из принципа изображая праздных собеседников. И вдруг мимо гордо прошествовала оглобля в дождевике.

— О, Масловрот за дикалоном пошел,— вострепнулись весело мужики и явно почувствовали себя лучше. Им-то такой выход все же не пришел в голову.— А дешевого-то нету. Один «Олимп» какой-то стоит за семнадцать рублей, набор, в общем.

А Масловрот уже вышагивал назад, на виду пронося подарочный из двух флаконов набор с гордым названием «Олимп».

— Коров душить пошел, чтобы не пахли назьмом...

— А что ему при таких-то деньжищах...

Я не разглядел его лица, очень уж быстро он прошагал, но ясно понял, что случай с кардой — никакая не победа добра над злом. Ведь вот он — торжествует по-своему. Я решил обязательно все же посмотреть на него вблизи, прямо интересно стало, и вечером снова пошел к Николаю Ивановичу.

Масловрот был у него. Он пришел к директору просить дружую лошадь. У его лошади им же стерта спина под седлом.

— Вот журналист, который твою карду обнаружил,— представил меня Николай Иванович, и это было нехорошо, хотя и сказано вроде с некоторой угрозой.

Но бог с ним, я рассматривал пастуха и не находил в нем никаких зверских или бесчеловечных черт, за которые сразу начинаешь ненавидеть человека, опасаться его, чтить как врага. Длинное, потупленное долу лицо; глаза со слезой, усталые; дерганая виноватая улыбка человека, которого, возможно, будут сейчас бить. Все лицо как бы говорит: «Пропала жизнь», а когда взглядывает украдкой на собеседников, приговаривает: «И у тебя. И у тебя тоже».

— Может, чего скажете ему, Владимир Иванович? — тем же, подразумевающим воспитательную работу тоном обратился ко мне директор.



Я махнул рукой и вышел. В кабинете пахло «Олимпом».

Передо мной стояло это лицо с плачущими и бесстыжими одновременно глазами. Ах, Масловрот, Масловрот, кто сделал тебя таким? Расползается твое лицо и наползает подобно амебе на строгий профиль Николая Ивановича, других знакомых мне сельчан да и на мой собственный автопортрет, пожалуй. Ведь вот в чем дело: бесстыжее равнодушие потихоньку проникает и в нас, потому и прощают ему мужики безотчетное желание за счет реальной боли и даже гибели живого максимально облегчить себе жизнь. Хотя и опостылела она ему, судя по мату, и не видит он в ней ничего. И что могу я сказать ему, в котором этого равнодушия хватит на то, чтобы существенно подпортить всех вокруг. Девчужке, плясавшей на грибах, можно и нужно, наверное, что-то говорить. Она должна знать, что игрунья Елшанка — это не речка-малышка, как представляется. Это — речка-старушка, немощная уже. Когда-то она была могучим потоком — далеко от ее нынешних бережков на склонах шиханов лежат окатанные ею гальки и валуны. Этой старушке хватит не прямого зла, а одного только масловротовского равнодушия, чтобы сгинуть с этого света. Могучая праматерь ее, которая была сильнее и равнодушия, и зла, протекла уже в древние, беспамятные времена...

Ишь куда унесло нас от грибов. Вернемся хотя бы к нашей осени...

Я пропустил стадо, но нечаянно нагнал его на выгоне, где коров встречают и разводят по домам сельчане. Усталый пастух ехал молча.

— Эй, а ну ругнись-ка! — слышался призыв из группы поодаль стоявших мужиков.

Он охотно взорвался, и ему ответил одинокий гогот. А один из них зло сплюнул и непримиримо крикнул почти:

— Чего ржешь? Бабы вон стоят, дети. Эт ведь он их да нас поливает, а не коров. Те ведь языка не ведают...

Но вернемся к грибам. Напрашивается, знаете, такой вывод: станешь грибником, не миновать ввязываться в такие вот истории, и как ни малы будут наши усилия и достижения в них, как ни мала цена одного только понимания того, что происходит в селе, больше всего связующего человека с природой, главное, не ошибаться, как я в истории моего знакомства с Мас-

ловротом. Не одни мы, товарищи грибники. А что касается непосредственно грибов, то в том березняке долго еще не будет подберезовиков и черных груздей, но были бы сами березы. Закончить я хочу стихами о той самой бабочке-павлиноглазке:

Паутинку метели примерила осень,
А в окне
Бьется бабочка, словно бы выпустить просит
В первый снег.
Слишком слабо и коротко крылья трепещут,
Спит она.
Но не выцвели краски и радугой блещут,
Как весна.
Бьется, сонная, радугу с крыльев сбивает,
Всю собьет.
Ей приснилась поляна, каких не бывает,
И полет.

При желании и в этом стихотворении можно обнаружить лирический оптимизм.



К ЧИТАТЕЛЯМ

*Отзывы об этой книге
просим присылать по адресу:
125047, Москва, ул. Горького, 43.
Дом детской книги.*

Литературно-художественное издание

Для среднего возраста

Одноралов Владимир Иванович

ЗА ГРИБНЫМ ЦАРЕМ

Рассказы и повесть

Ответственный редактор

Ю. Н. Спасская

Художественный редактор

Л. Д. Бирюков

Технический редактор

С. Г. Маркович

Корректор

Г. Ю. Жильцова

ИБ № 11249

Сдано в набор 15.11.88. Подписано к печати 05.05.89. Формат 70×90¹/₁₆. Бум. офс. № 1. Шрифт таймс. Печать офсетная. Усл. печ. л. 9,36. Усл. кр.-отт. 19,89. Уч.-изд. л. 7,74. Тираж 100 000 экз. Заказ № 2456. Цена 60 к. Орденів Трудового Красного Знамени и Дружбы народов издательство «Детская литература» Государственного комитета РСФСР по делам издательств, полиграфии и книжной торговли. 103720, Москва, Центр, М. Черкасский пер., 1. Калининский ордена Трудового Красного Знамени полиграфкомбинат детской литературы им. 50-летия СССР Госкомиздата РСФСР, 170040, Калинин, проспект 50-летия Октября, 46.



